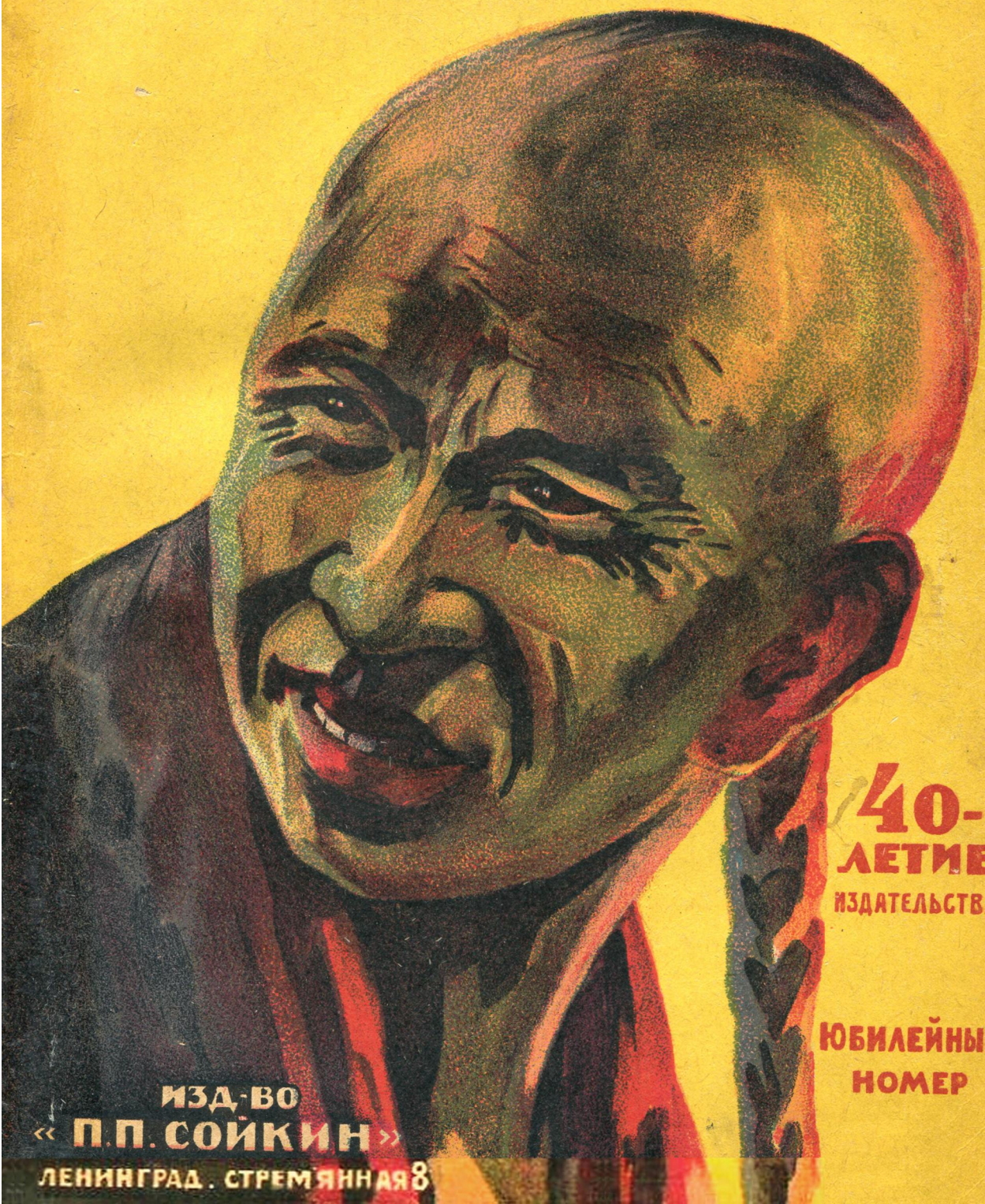


МИР

№1.1926

ПРИКЛЮЧЕНИЙ



40-
ЛЕТНЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ
НОМЕР

ИЗД-ВО
« П. П. СОЙКИН »
ЛЕНИНГРАД . СТРЕМЯННАЯ 8

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
«ЧЕЛОВЕК С ПОРОШКОМ»,—рассказ Г. Бергстедта, пер. А. Ганзен, иллюстрации Н. Ушина	1
«ЖЕНЬ-ШЕНЬ»,—рассказ Н. Ловцова, с иллюстр. М. Мизернюка .	25
«ТРИ НЕБЛАГОЧЕСТИВЫХ РАССКАЗА»,—К. Эвальда, с иллюстр. Н. Ушина	31
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» Задача № 8	35
«БОГАТЕЙШИЕ В МИРЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ»,—очерк К. Ланге, с иллюстр.	37
«ДУША ВОИНА»,—рассказ Д. Конрада, пер. Анны Бонди, иллюстр. М. Мизернюка	45
«ПОДНЯТЫЙ БУМАЖНИК»,—рассказ А. В. Бобрищева-Пушкина, с иллюстр.	75
«СТРАШНАЯ НОЧЬ»,—рассказ А. В. Бобрищева-Пушкина, с иллюстр.	97
«ПШЕНИЧНЫЙ КОРОЛЬ»,—рассказ О. Рунга, с иллюстр.	103
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» Задача № 9	119
«У КАННИБАЛОВ»,—рассказы Рони-младшего, с иллюстр. I. Гостеприимство	121
II. Любовь	127
«ЗАТОНУВШИЕ СОКРОВИЩА»,—рассказ Г. Т. Шеффауера, с иллюстр.	135
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ № 7	147
«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ». Откровения науки и чуда техники:	
Исчезнувшая культура Майев,—с иллюстр.	149
Заснувшая жизнь,—с иллюстр.	151
Гараж-башня, с иллюстр.	153
Двести англ. миль в час.	154
Электромагнетизм человеческого глаза, с иллюстр.	155
Роторный пропеллер, с иллюстр.	156
Европа-Америка в 24 часа, с иллюстр.	157
Борьба с воздушным врагом, с иллюстр.	159
Переворот в электрическом освещении, с иллюстр.	160
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК	на 3-й стр. обложки.

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

„МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ выходит ежемесячно. Подписка на 1926 г. продолжается.
 Подписная цена на год 5 руб. с перес., на 6 мес. 3 руб.
 ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ: Ленинград, Стремянная, 8. Гл. Контора журнала
 „МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ“.



Фантастический рассказ
Гаральда Бергстэда,—

автора романа „Александрсен“ и
легенды „Праздник Поргена“ (Изда-
ние „Всемирной Литературы“).

С датского перевод

А. Ганзен.

Иллюстрации Н. Ушина.

I.

Я хорошо его помню.

Миниатюрного человечка аристо-
кратической внешности, для кото-
рого все и вся были как бы пустым
пространством; сухонького и вы-
дощенного; с глазами за стеклами
пенсне, с пенсне в облаках сигар-
ного дыма.

Он был курортный гость в са-
мом разгаре сезона, а я—скромный
репетитор в местечке.

Сам не знаю по какому поводу
и, кто его знает, с какою целью,
но это он завязал знакомство, про-
тянул мне однажды на улице—
осторожно—руку. Я, как сейчас,
вижу эту гладенькую ручку, такую
хрупкую, изящную в моей неуклю-
жей плебейской лапаше.

Помню, я потом долго шаркал и
тер свои руки, словно выскабливая
из них ощущение чего-то диковинно
приторно-сладкого.

II.

Мы стали соседями.

Я снимал в боковой улице ман-
сарду у вдовы булочника, владель-
цы четырех котов.

Он переехал из отеля ко вдове
сапожника, как раз напротив. Ха!
Достопримечательное зрелище: чо-
порный господинчик, с ног до го-
ловы в шелку, ютится в таком ло-
гове нищеты.

Но у него было свое хозяйство,
и необыкновенное, что то вроде
лаборатории, а это не всякому квар-
тирному хозяину по вкусу. Иногда
он выходил на солнце в длинном
белом халате мыть и прополаски-
вать свои колбы и реторты—с са-
мым свирепым видом.

Над чем он работал?.. Кто его
знает? В отеле он был записан
графом и профессором. Три-четыре
дня подряд мы с вдовой булочника
наблюдали, как он возвращался до-
мой в сопровождении мальчика из
мясной лавки, тащившего за ним
огромные куски говядины или ба-
ранины.

Моя невеста, больничная сиделка,
рассказывала, что главный врач
считал его хирургом, который прак-
тикуется на кусках мяса.

Раз я видел, как две важные ба-
рыни атаковали его расспросами.
Но он только улыбался—безуко-
ризненно любезною улыбкою свет-
ского человека—и качал головой.

Последние дни он стал подманивать к себе молоком бездомных кошек.

— Какой то зловещий у него вид,—заявила моя вдовушка; у нее, видно, сердце защемило от страха за своих четырех кисок.

III.

Я попал в члены правления одного народного кружка как раз перед устройством большого праздника — гулянья. Пришлось самому бегать по местечку и расклеивать афиши,—экономия была необходима, а никто другой не соглашался работать даром. Затем я взобрался на триумфальную арку, чтобы обвить ее ельником и увенчать короной из цветов вереска.

— Однако! Графская корона! — послышался внизу насмешливый голосок. — В виде благородного допинга для нашего дорогого, пробуждающегося народа? Не правда ли?

Я не нашелся, что ответить, а потому покраснел и продолжал постукивать молотком.

— Ну-ну! — хихикнул он и вскоре засеменял дальше.

Через полчаса он возвращался назад.

— Как! Вы все еще торчите там, наверху?

Ясно было, что ему хотелось завязать разговор, но я не простил ему „дорогого пробуждающегося народа“.

— А вам желательно что ли самому приложить руку? — колко спросил я.

Он с комическим испугом пожал плечами.

— Вам чтонибудь платят за это занятие? — опять задал он вопрос, немного погодя.

— А вам платят за то, что вы стоите там внизу и надрываете свои легкие? — щелкнул я его опять.

— Простите, сударь, — воскликнул он, — я задал глупый вопрос.

... И он усмехнулся, приподнял шляпу и ушел.

Но на другой, стало быть, день он остановил меня на улице и пригласил заглянуть к нему.

IV.

Он надел свой длинный белый халат и провел меня в заднюю комнату.

— Вот здесь моя мастерская, где я работаю... по своему, на благо возлюбленного человечества, тоже не получая за все свои хлопоты ни гроша медного.

Я ожидал увидеть ножи, ведра крови, полотенца в кровавых пятнах, а передо мною сверкали стеклом сотни колб, пробирок и реторт, банки и бутылки со всевозможными жидкостями и кислотами. На одном блюде лежал огромный ростбиф, а на столе возле, на свинцовой бумажке, щепотка ярко-синего порошку; в воздухе странно пахло чем то в роде гелиотропа.

— Вы алхимик? — спросил я.

— Был... работал над „облагорожением“ металлов, как вы, дорогой друг, работаете над „облагорожением“ возлюбленного человечества. Но мои опыты завели меня на новые пути, и в один прекрасный день я сам себя озадачил одним открытием, о котором мои счастливые современники еще ничего не ведают.

Он усмехаясь потер руки.

— Вот как! — Что же вы открыли? — спросил я.

— Увы, старую истину, что всякая плоть бrenна, да еще в большей степени, чем воображает наш самоуверенный род людской.

Он указал порошок. Я было хотел потрогать его кончиком мизинца, но граф с быстротой молнии оттолкнул мою руку.

— С ума вы сошли!.. Да, стоило бы дать вам дотронуться... — захихикал он, поглядывая на меня. — Что, однако, за странное, необъяснимое чувство — симпатия! — продолжал он. — Никогда до сих пор не имел я друга, поверенного; я едва знаю ваше имя и тем не менее готовлюсь сейчас посвятить вас в самую замечательную тайну с тою же инстинктивной уверенностью, с какою юноша впервые берет девушку или оса-паразит находит к

кому присосаться. Странно, не правда ли?.. Пожалуй, это величайшая загадка бытия.—Ну, а теперь смотрите во все глаза, дружок!

Он почти торжественно засучил рукава, согнул бумажку с порошком, быстрым мягким движением высыпал содержимое на свежий, сочный ростбиф... и тут произошло нечто неопишемое.

Я только что успел схватить глазом лазеревую щепотку порошка на багровом фоне говядины, как в ту же секунду на месте мяса закипел какой то водоворот, закрутился миниатюрный смерч... и мясо исчезло, на тарелке осталась лишь серая пыль, прах, укладывавшийся холмиком и распространявший во круг запах гелиотропа, столь сильный, что у меня сделалось сердцебиение.

— С этим покончено,—с тихим клопочущим смешком проговорил он.—Теперь смотрите сюда.

Он протянул руку за окно и сорвал ветку бузины, темнозеленую, сочную, но всю густо облепленную жирными травяными вшами. Он с отвращением положил ее на тарелку и чуть чуть посыпал порошком...

Пуф-ф... Повеяло гелиотропом, и—листья, стебель, вши—вся мерзость разом пропала, претворилась в кучку чистенькой пыли, праха.

— Не правда ли своеобразный взрыв?—спросил он.—Бесшумный, всеразрушающий, катастрофический для всякой живой ткани—поскольку и кусок сырого бычачьего мяса можно назвать живым. Следовало бы, конечно, проделать опыт над живым быком. Как вы думаете, не пойти ли нам вечером в поле, высыпать пакетик порошку на одну из коров арендатора?

Признаюсь, я возмутился, запротестовал.

— Ну, полно,—возразил он.—Из праха взятый в прах и обратится; арендатор знал это, когда покупал их; кроме того, у него их не одна, а целых пятнадцать.

Представьте! Он успел пересчитать стадо.

— Неужели вы действительно?

— Всенепременно. Самого огромного быка мы заставим исчезнуть, как мыльный пузырь... Никому в голову не придет, куда девался бык, раз никто не увидит, как это случилось... Стало быть эксперимент вполне безопасен.—Что? Если явится нечаянный свидетель, например,—сам арендатор... Что ж, нам стоит только посыпать и его порошком, чтобы избавиться от него навсегда, и... этого доброго человека избавить от всех земных горестей.

Сухонький человечек кинул это добавление с мягкой аристократической невозмутимостью, как будто ему все было дозволено. Я же, как истинный сын народа, воспитанный в страхе и гнете закона, напротив, чуть не задохся при одной мысли...

— Увы!—вздыхнул он,—будь у нас под рукой хоть кошка!

— Живая?—испуганно воскликнул я. Теперь то я понял, с какой целью он заманивал кошек молоком. Четыре жирных кота моей вдовушки серьезно рисковали попасть в беду.

— Да как их поймашь, этих проворных бестий! Они, пожалуй, симпатическим путем чувствуют, что их собираются „пудверизовать“, а им это вовсе не улыбается. Вот, если бы мадам Меллер добыла нам хоть одну... Эй, мадам Меллер!

Вошла мадам Меллер, придурковатая неряха, тугоухая разиня, кофейница, мать восьмерых слабоумных ребят, из которых двое уже угодили в приют для идиотов. Большие очки на носу, а на шее—от самого ворота платья до уха—туберкулезная язва.

— Достаньте нам кошку!—отрывисто приказал он, относясь к ней словно к какому то клоуну на арене жизни.

— Плешку? Плешку?—переспросила она и принялась шарить на этажерке так, что полки затряслись, слетела на пол газета и целая коробочка порошку опрокинулась бабе прямо на голову.

Я расслышал крик вскочившего профессора... Увидел голубые пятна

и полоски порошку на белой коже головы под жирными черными волосами... А потом сероватый смерч взвился с пола к потолку и осел небольшой кучкой праха, распространяя удушливый запах гелиотропа, от которого подымался звон в ушах.

— Благодарю, не ожидал! — произнес он. — Вот тебе и мадам Меллер — взорвалась!..

Сердце мое неистово колотилось в груди от ужаса: погибла ведь жизнь человеческая! А он стоял себе с улыбочкой и с видом живейшего интереса сказал:

— Изумительно, все таки, даже гребенка, и та исчезла, и шлепанцы! Понимаете?

— Мама! Мама! — позвала из коридора старшая дочка мадам Меллер, восемнадцатилетняя девушка, гнусава от полипов в носу. — Мамы у вас нет? — простодушно просунула она голову в дверь.

— Ах ты, какая оказия! Пыли то сколько надело! Не прийти ли с метелкой?

— Пожалуйста, — ответил он.

— Ну, знаете ли!.. — воскликнул я. — Ведь это ее собственная мать...

— Тише! — шепнул он, схватив меня за руку. — Или и вам захотелось отправиться тою же дорогой?

Я окаменел. Думаю, что и с вами, дорогой читатель, было бы то же.

Девушка принесла метелку и сорную лопатку, а немного погодя унесла на лопатке собственную мать.

— Скажите сами, что же оставалось нам делать иначе? — зашептал он. — Заявить о происшествии. Рассказать? Кому? Ни одна живая душа в мире нам бы не поверила. Мадам Меллер исчезла. Это факт. И разве это не лучший исход для нее самой, откровенно говоря? Да лучше было бы и ее бедной дочке отправиться за ней следом.

Он сухо, отрывисто засмеялся. Он ведь был аристократ, турист, курортный гость... А я — всего на всего учитель... Вдобавок я был знаком с мадам Меллер давно, в течение многих лет беседовал с нею...

Смерть застигла ее как раз посреди несовсем грамотно составленной фразы:

— Не может быть, чтобы что могло взять, да как будто пропасть, словно...

Договорить ей не пришлось, — на нее посыпался порошок...

И она исчезла.

V.

Я плохо спал в ту ночь.

Я ведь так часто слышал над открытой могилой великолепную формулу: „из праха взята всякая плоть и в прах обратится“, и все таки... увидеть вочью, как живое существо исчезает, рассыпается прахом... Это сильно потрясло меня, недавно помолвленного молодого человека, полного сил, брызжущего здоровьем.

Но затем меня заняла более интересная мысль: что теперь будет делать полиция?.. Бедная мадам Меллер, так неосторожно провалившаяся в другой мир или во всяком случае провалившаяся со здешним!.. Ни одна посторонняя душа в городке не интересовалась ею, пока она была жива, но ее непостижимое исчезновение, несомненно, превратит все местечко в потревоженный муравейник.

Чего доброго и меня вызовут для дачи показаний. Что же мне тогда говорить?

Посоветуюсь завтра с моей невестой, когда она вернется из больницы. Что она скажет?

VI.

Но этого я так никогда и не узнал.

Попытаюсь рассказать о том, что случилось... Это ведь было уже так давно!

Городок был взволнован. Повсюду мелькали полицейские кэпи с золотым галуном.

Возвращаясь вечером домой с последнего урока, я зашел под ворота переждать дождик, и тут со мной заговорил наш пастор:

— Ваша невеста у вас?

— А вот пойдемте вместе увидим.

В кухне, на газовой камфорке, шипели на сковородке четыре котлетки.

— Дорогая! — весело крикнул я, проходя в комнату, но сразу остановился, как вкопанный. В нос мне ударило острым запахом гелиотропа, а посреди комнаты на полу серела кучка пыли... такая маленькая... о-о, такая крохотная... под стулом же блестела закатившаяся туда пустая жестяная коробочка, в которой я принес домой шепотку порошка — показать своей невесте.

— Удивительно, как сильно пахнут эти гелиотропы, — сказал пастор, — но фрекен Хэст здесь не видно...

С этими словами он ступил своими мокрыми сапогами на маленькую кучку праха... на то, что осталось от всей той доброты и преданности, к которой я был так привязан здесь на земле.

— Ну, делать нечего, я еще успею с ней повидаться, — сказал он уходя.

Но я уже не слышал его шагов. Я упал возле этой кучки праха, которая, как я отлично понимал, за пять минут до этого говорила, жила, дышала, ждала меня и желала мне только добра.

Я лежал на полу, плакал, ласкал прах, припадал к нему щекой, перебирал его пальцами... но он оставался холодным, безжизненным. У меня не осталось в памяти ни легкого вздоха, ни вскрика удивления, который она, может быть, испустила, когда открыла коробочку и... о, нет, нет!..

А вон там... там, на стуле... ее дождевой плащ, еще мокрый от дождя. Смоченный той дождевой тучкой, что оросила ее последний путь домой...

В складках занавесей как будто притаился ее звонкий смех... и слышите! — в кухне еще жарились, шипели на огне котлетки... на огне, который она сама зажгла... шипели так оживленно, как будто она невидимкой стояла возле и переворачивала их на сковородке...

Я снял сковородку с огня, но не решился потушить газ. Этот огонек стал для меня как бы священным, как будто в нем теплилась живая душа моей исчезнувшей подруги.

VII.

Две недели я проболел; в мозгу моем пылало безумие, и я бредил порошком и газом, газом и порошком.

Я позволил вымести кучку пыли, но запретил тушить пламя газовой горелки.

Две недели пролежал я, вперив взгляд в маленькое пламя; в его тихом шипении мне чудилось последнее прости моей уже не существовавшей подруги. Наконец, в одно прекрасное утро, моя экономная хозяйка предложила моей сиделке потушить газ, пока я сплю.

Я в тот-же момент очнулся от своей дремоты, но было уже слишком поздно. Пламя погасло. Тогда я, несмотря на крики и протесты, вскочил с постели, оделся и выбежал из дому. Потому что комната оказалась мне вдруг такой чужой и холодной, как нора, вырытая в сырой глине.

Я бродил по городу. Он показался мне опустевшим. Бродил по окрестным лесам... и они показались мне пустынями.

Я видел на телеграфных столбах размокшие от дождя ключья моих старых афиш. И понять не мог, как это у меня когда-либо хватало охоты расклеивать их.

Дети играли. Я понять не мог, — что за охота им играть.

Учителя шли в школу. Я постичь не мог — какая им охота тащиться туда.

В моей собственной душе погас огонек, стало темно, холодно, пусто. Не было смысла, ни цели, ни планов, ни улыбки. Ни до кого в мире не было мне больше дела. Только одному человеку мог я поверить свою печаль — человеку с порошком, моему молчаливому старому визави.

К нему я и направился. Он принял меня с распростертыми объятиями... и как бы там ни было — теперь я понимал его. Каждое слово. Каждую горькую улыбку. Все стало для меня таким понятным, само собою разумеемым.

— Поедем со мной, — предложил он. — Все мои вещи уложены, все сундуки готовы.

Этого пресыщенного, разочарованного аристократа теперь не узнать было. В нем появилось что-то новое... какое-то напряжение, ожидание. Его всегда аккуратно приглаженные седые волосы торчали теперь вихрами по Стриндберговски, а прежде вечно шурившие глаза широко открылись и сверкали оживлением, энергией.

— Мой долгий рабочий день кончился, — заговорил он. — Я победил, могу теперь отдохнуть, и затем — мне остается лишь напрячь свои последние силы, чтобы использовать свою победу. Поедем со мной. Слышите? Мы с вами пара. Или вы только и созданы на то, чтобы сидеть тут да потеть над какой-то триумфальной аркой или бегать по городу с горшком клейстера, да созывать людей на собрания, на которых умные все равно не бывают, а глупые ничего не понимают?

Чего достигнете вы таким путем? Ровно ничего! Только сделаете себя посмешищем, которому не место в порядочном обществе. Бросьте все это, слышите! Люди глупы и глухи к доводам разума, такими и останутся, даже если бы нам удалось всех их пропустить через гимназию, как пропускают мясо сквозь колбасную машинку.

Мир становится ужасным... его необходимо исправить, переделать, это так, — но ваш метод никуда не годится. Мой гораздо практичнее.

— Какой же это? — спросил я.

Его глаза лихорадочно сверкали.

— Порошок, — сказал он. — Мой порошок. Мы оставим в покое стадо нашего милого арендатора. На пажитях мировой истории разгуливают волы и быки поинтереснее, надутые высокомерием, кровожад-

ные. — Едем! Едем вместе! Соглашайтесь! Мы будем творить мировую историю. Мы одним мановением руки будем придавать миру более приличный вид!...

Я согласился, — я был так удручен, измучен. С первую осеннюю бурю мы покинули купальное местечко и понеслись на пароходе к югу — к теплу, к пальмам, в невдомый, огромный мир.

VIII.

— Взгляните, — сказал он мне.

Мы сидели в уютном номере с зелеными панелями, в незнакомом отеле, в глубине континента. Двери были заперты, и перед нами лежала целая кипа газет; все столбцы были заполнены сообщениями о войнах, восстаниях, тирании и нищете. Он собирал газеты во время нашей поездки и, прочитывая, делал отметки синим карандашом.

— Взгляните, сколько тут подчеркнуто имен. Большинство этих людей я знаю еще со времен моей молодости, с тех пор, когда пробуждающиеся народные массы были всколыхнуты первыми веяниями свободы и бурями мятежа. Теперь эти люди изменили делу свободы. Теперь они сами подают пример алчности, кровожадности, лезут вверх и расталкивают всех локтями. Всех настоящих, талантливых, добрых, чутких они оттеснили в сторону, придушили, придавили, а сами протолкались на вершину, где ими одним за другим овладевает мания величия. Это — пиники. Они уже не верят в возмездие. Им недоступно чувство доброты, ими движет только личная выгода. На этом листе я записал их имена. Спрячьте хорошенько. Мы выезжаем немедленно.

— С кого же мы начнем? — спросил я.

— Вот с этого. С генерал-губернатора. Я знал его еще ребенком. Отец-честолюбец, мать — большая бабочка, а этот избалованный мальчишка стал одним из самых свирепых тиранов человечества.

Подумайте, если-бы он проведаль про мой порошок, которым мог-бы втихомолку, безкровно, — тихо и мирно — „пульверизовать“ своих соперников, явных и тайных, поверьте мне: он не оставил-бы в живых ни одного талантливого человека в пределах досягаемости. Теперь он сам будет номером первым... Ну, едем!

IX.

Мы мчались в экспрессе. Мы приближались к столице генерал-губернатора. В предместьи поезд замедлил ход. Дождь лил как из ведра.

На одной из площадей мы заметили что-то странное. Опустили окошко купэ. Что-же это такое?

— Это виселицы, — сказал один из наших спутников, набивая себе трубку. — Вчера повесили еще девятых студентов. А эти — тот, что посредине, композитор — из новых, знаете-ли; а рядом, длиннородый — профессор истории.

Мой старый друг пожелтел и позеленел, как мертвец.

— Вот! — сухо сказал он и ощущал свою „пороховницу“.

— Да, — так-же сухо отозвался наш собеседник, и мы подкатили к вокзалу.

Мы поехали прямо в старинный дворец Карловингов, а вечером сидели в опере, рядом с пустою пока ложей генерал-губернатора.

Итак, это должно было совершиться...

Зрительный зал представлял раздушенную, сияющую гору вееров и бриллиантов.

О, как они обмахивались!.. как улыбались — в то время, как девятые смельчаков-студентов болтались под проливным дождем на виселицах.

Под гром приветствий генерал-губернатор занял свое место в ложе. Маня величия светилась в его взгляде, хотя ему не оставалось и двадцати минут жизни, болвану.

В антракте мой друг граф полу-

чил аудиенцию в аванложе. Тихо и скромно скользнул он туда под махание вееров и гул голосов.

Так-же тихо и скромно вышел он оттуда, сел возле меня, распространяя вокруг аромат гелиотропа, и пожал мне руку под махание вееров, гул голосов и сладостный рокот райской музыки — в честь генерал-губернатора.

— Что с ним случилось? — спросил я.

— Тсс, — шикнул граф и хихикнул. — Лежит себе в уголке на ковре. Больше никого не отправит на виселицу. В нем не осталось ничего внушающего страх, и завтра его заберет пылесос.

В ту же ночь мы покинули столицу. Мы направлялись в купальное местечко на теплом морском берегу — перевести дух после своего всемирно-исторического подвига и в тихом уединении поздравить друг друга с освобождением человечества.

Двое суток спустя, мы снова сидели в отеле в нашем номере с зелеными панелями, и с напряженным интересом взялись за газету, чтобы узнать новости о раскрепощенном человечестве. Увы! мы остались на этот раз с длинным носом...

Щепотка графского порошку развела большое волнение на поверхности океана событий, но...

В столицу немедленно прибыл начальник генерального штаба и занял все улицы и присутственные места орудиями и патрулями О! Это был колоссальный ум и ненасытная утроба. С горько перекошенным ртом — не то от презрения ко всему миру, не то от табачной жвачки, а, может статься, от того и другого вместе, человек, никогда не терявший самообладания — ни от капризов любовниц, ни при расстрелах толпы на площади...

Исчезновение губернатора пришлось ему как раз кстати, явилось для него настоящим благодеянием свыше. Он только того и ждал. Генерал-губернатор, видите-ли, находил, что выгоднее прекратить

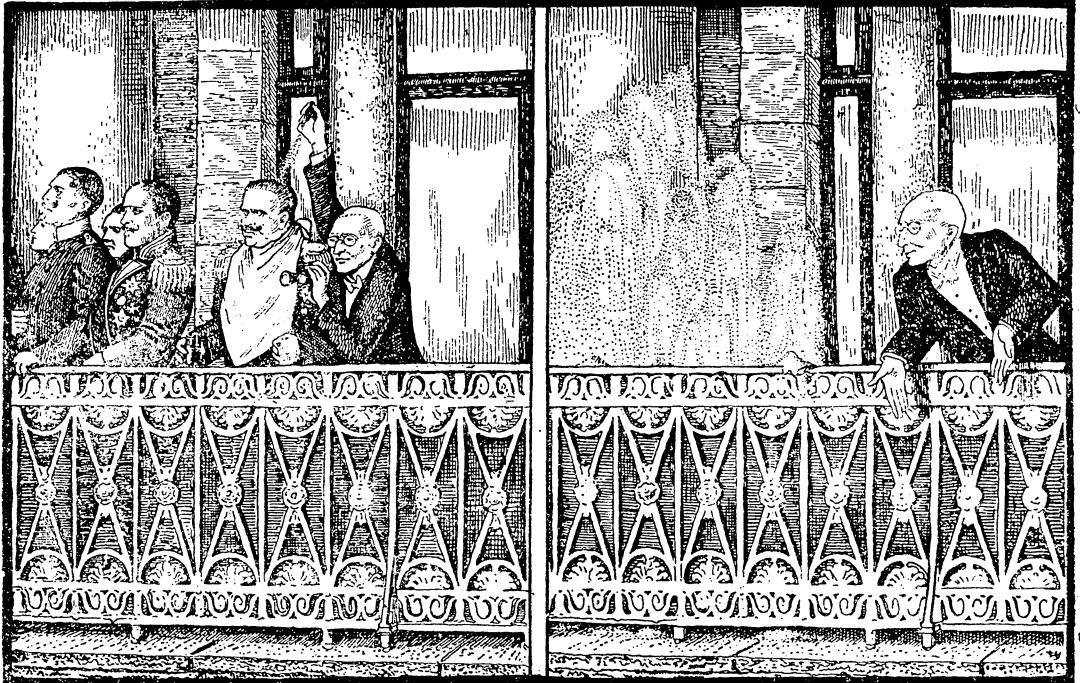
войну, пока начальник генерального штаба не забрал чересчур большую силу. Теперь затрещали барабаны и, как снег на головы миллионов, посыпались приказы о новых призывах в войска.

— Мерси! — воскликнул граф, у которого от бешенства волосы поднялись на голове дыбом. — Про него то я и забыл. Но погоди, милейший

или иной позиции — семью тысячами или только четырьмя.

Тут их позвали кушать. На столе — ароматные вина, дымящееся жаркое, а на линии огня — сплошной ужас, тела рядовых, повиснувших на колючей заградительной проволоке, между полусгнившими сапожниками и портными...

Мы с графом стояли на балконе с



Бесшумным змеевидным изгибом руки граф посыпал порошок могучую потную спину. Генерал исчез мой генерал! Нас ты не будешь водить за нос, пока у нас есть порошок в коробочке!

X.

Мы отправились на театр военных действий. Всю ночь грохотали пушки, мимо нас, по грязи, под дождем двигались толпы беженцев. Впереди пылал приморский город.

Мы прибыли в главную квартиру генерального штаба. Офицеры толпились около большой стеной карты, дрожа от азарта, как игроки в Монте-Карло. Они яростно спорили о линиях укреплений, о том, сколькими жизнями можно пожертвовать ради удержания той

его двоюродным братом, полковником, когда воздух задрожал и загрохотал от далекого взрыва: это взорвали на воздух крупный форт неприятеля.

Офицеры, ликуя, кинулись к окнам, на балконы. Поспешил выйти и сам генерал-фельдмаршал с салфеткой под подбородком, оттолкнул нас в сторону и начал вглядываться вдаль, вытягиваясь и весь дрожа от напряженного любопытства. Мировой спектакль... Безумно интересно — чем дело кончится...

Ха! Ему — то не пришлось дожидаться конца.

Бесшумным, змеевидным изгибом поднятой руки граф посыпал порошок могучую потную спину.

Генерал-фельдмаршал исчез, рассыпался прахом на балконе, где стоял; был втоптан в грязь сапогами офицеров и смыт дождем вниз, по стенке фасада!

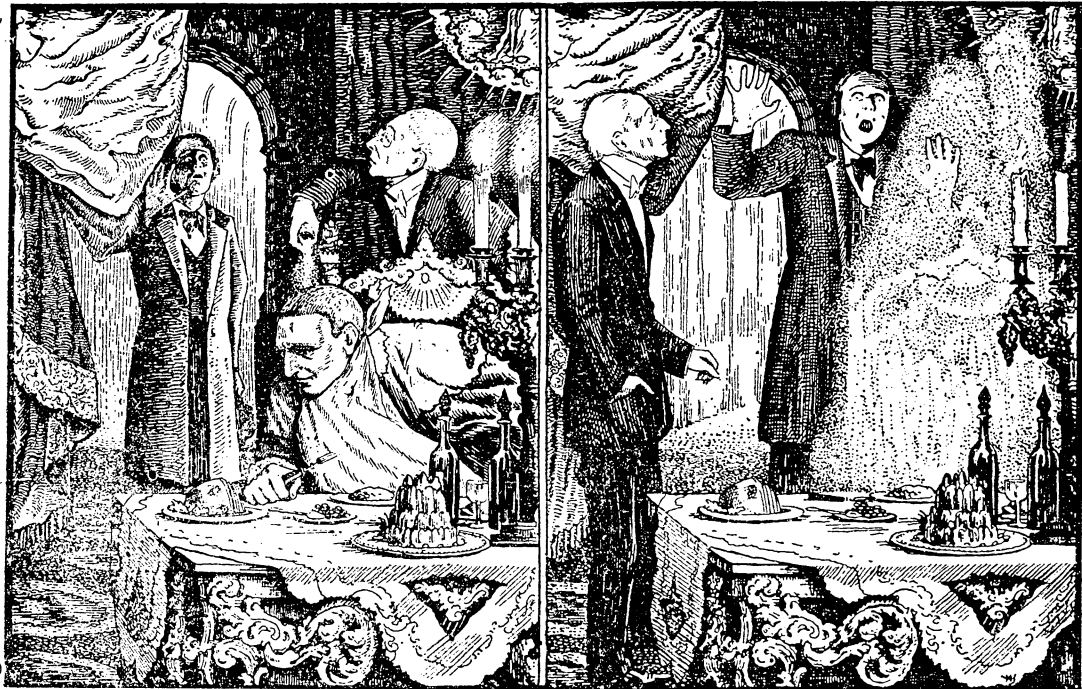
Затем исчез его сосед, потом другой, третий... все стали грязными потеками на стене.

Наконец, на балконе остались только мы с графом. Вдали про-

и грязь струились с их столбцов неделя за неделей.

Исчезновение всего генерального штаба целиком явилось сигналом к небывалому в истории побоищу... к кровавой ночи, когда люди уничтожали друг друга сотнями тысяч безо всякого плана военных действий.

На арену мировой истории вы-



Мы вежливо превратили в прах его преосвященство.

дождался адский оружейный огонь, шим и грохот, а с балкона струился в столовые крепкий запах гелиотропа...

— Чудесно!—воскликнул граф.— А—а! Наконец-то мы их всех истребили!

XI.

Да—а, как-бы не так!

Восемь дней спустя мы опять благополучно сидели в своем зеленом номере отеля и с напряженным интересом следили за ходом событий, толчок которым был дан действием последнего порошка.

И, надо сознаться, у газет не было недостатка в материале. Кровь

нырнул новый феномен, епископ, которого раньше никто и не замечал: интриган, архимиллионер, с феноменальным аппетитом к жизни и с беспримерным красноречием религиозного характера, прямо, как нарочно, созданный покорять и злачивать человеческие массы.

Он проповедывал направо и налево „любовь и мир“, а сам реорганизовал армию и продолжал прежнюю игру. И снова загрохотали пушки.

Граф рвал и метал.

— Как будто сам сатана нанимает на веревочку всех мерзавцев, чтобы мы их пульверизовали всех подряд!

Мы снова снялись с места. Добились аудиенции у епископа во время его завтрака и вежливо превратили в прах его преосвященство как раз, когда он с вилок в руке блаженно потянулся за пармезаном.

— Дадут ли нам теперь, наконец, покой?!—возмущенно спросил граф, глядя, как епископ укладывается кучкой праха на собственном ковре из медвежьей шкуры.

Но нам не давали покоя.

На смену исчезнувшему епископу вынырнула целая плеяда авантюристов. Сначала один шикарный альфонс, потом парочка друзей аферистов, имевших огромный успех во всех кругах; потом молодая вдова ростовщика, объявившая себя современною Жанной д'Арк и совершавшая торжественные въезды в один город за другим—с маханьем пальмовыми ветвями и подстиланием ковров ей под ноги; потом еще целый ряд плутов и народных героев в перемежку, которые все, один за другим, заражались манией величия и алчностью и вели себя, как дикие звери.

Мы пульверизовали всех; странствовали по биржам, парламентам, конгрессам и превращали в прах всех попадавшихся нам ненасытей и маниаков величия, как только они грозили стать опасными. И они рассыпались прахом и укладывались у наших ног пыльными кучками, сколько ни пыжились, ни важничали за какуюнибудь минуту до этого. Мы оставляли за собою целый ряд таких пыльных кучек. Но стоило исчезнуть одному маниаку, как на смену ему выростали двое и дрались за освободившееся место. Тогда мы убирали и этих.

Мы не знали отдыха, вечно были в дороге. Вначале мы каждый раз с некоторою торжественностью отправлялись в поход и приступали к делу уничтожения какого ибудь нового властелина, но постепенно мы привыкли к этому. Вначале мы подолгу совещались в каждом отдельном случае, затем дело приняло более случайный характер.

Одним больше, одним меньше—какую роль играет это в мировой экономике!.. Боюсь, что и мы готовы были заразиться манией величия.

Припоминаю один поздний вечер в вагоне. Поезд был переполнен беженцами после землетрясения, и нам пришлось несколько часов проехать стоя. Наконец, нам посчастливилось попасть в пустое купе, но только что мы собрались растянуться, как явился какой-то тупоумный бродяга, уселся на одну скамейку, положил ноги на противоположную и принялся с помощью указательного пальца одной руки пересчитывать медяки на ладони другой.

От него разлило водкой, воняло грязью, а вихры его наверняка не были свободны от „постоя“. И он все сызнава и сызнава пересчитывал свои грязные медяки.

Поистине не легко было видеть в этом отребье своего ближнего и с особенным удовольствием делить с ним скамейку.

— Нет, только этого еще не доставало!—с сердцем буркнул граф.

...Пуф-ф... и аромат гелиотропа вытеснил запах сивухи, а останки бродяги посыпались с лавки чистенькой стружкой праха.

Тогда граф улегся на место бродяги и вскоре погрузился в крепкий сон. Я же был слишком испуган той стадией, до которой мы дошли. Буквально „фукнуть“ чужую жизнь только для того, чтобы самому поудобнее разлечься!..—Признаюсь, я провел всю ночь сидя, в то время, как граф преспокойно спал себе на освободившемся месте бродяги, который ехал бесплатно на полу, между обгорелыми спичками и апельсинными корками.

Как будто что-то новое, и вместе с тем старое зашевелилось на дне моего сознания.

XII.

Да, так это и было. Моя прежняя радость бытия, замерзшая в моей душе в ту ночь, когда потушили последний огонек, озарявший мои дни на одре болезни,—право,

она снова пробуждалась, пускала новые весенние ростки.

День спустя мы с графом проходили по людной площади.

Цветущее девичье личико промелькнуло совсем близко от меня.

Я невольно обернулся. И на меня пахнуло такую свежестью, таким весенним здоровьем, что я бессознательно стал оборачиваться вслед всем встречным девушкам. Граф, напротив, быстро, сердито семенил вперед, не обращая внимания ни на цветы, ни на девушек.

— Он высох... прозвучало во мне словно предостережением. Он стар, а ты еще молод... какое счастье! Молод, молод!

Я еще следовал за ним, но предчувствовал, что мы скоро расстанемся.

И час разлуки настал—высоко в горах, в лесу, далеко от города.

На повороте дороги, между папортниками и елями лежала палая лошадь, раздутая, с закинутою назад ослепшею серою мордой, словно жалобно вопя разинутым ртом против жестокостей судьбы.

Брюхо лопнуло, и между зеленоватыми внутренностями кишмя кишели сероватые личинки, а кругом так и жужжали целые рои мух и других насекомых на этой отвратительной падали.

— Ого — го! — воскликнул граф, притупившиеся чувства которого приятно возбудило это омерзительное зрелище.— Вот вам все бытие. Немая, жалкая падаль — жатва для рвачей и паразитов.

И с каким-то нечленораздельным торжествующим возгласом он швырнул целую коробочку порошку в эту симфонию красок и жужжания.

— Легкий свист... Кипение... Быстрый смерч... и мухи, осы, ужас и мерзость — все смешалось, взвилось вихрем пыли, которая зазем улеглась смирно и невинно серою кучкою среди папортников и душистых ветвей.

Граф смеющимися глазами следил за явлением, дожидаясь пока все уляжется, затихнет, а я живо повернул налево кругом и, не про-

щаясь, без единого слова быстро зашагал, бодрый и свободный, обратно к городу, к жизни, к ее домогательствам и шуму, к розам, и поцелуям, и молодым девушкам.

XIII.

Прошел год.

Я снова ходил по старым улицам, снова вошел в колею прежних обязанностей, в рамки милого, старого, твердого расписания часов... но сам обновленный, бодрый и свежий.

Я отдохнул всем своим существом, перебродил. По моим нервам пробегала новая искристая сила, мои жилы напрягались новым неугомонным задором. Мои глаза обрели новый блеск и новую зоркость. Я видел новые, свежие краски на цветах, на домах и в пестрой человеческой сутолоке.

Легко и естественно проложил я себе дорогу в круг девушек, свежим инстинктом выбрал из них настоящую... Невеста, свадьба, дом и хозяйство, все устроилось так же просто и легко, как ветка розового куста колышится по ветру.

Лес шумел за порогом моего жилья, в буковых вершинах куковала кукушка в такт и биению неугомонного молодого сердца. В кухне напевая хозяйничала моя подруга, а за окном школьного класса заливался скворец, славя солнце и жизнь.

А по вечерам... о, как легко проторил я опять тропу на народные сборища, в кружки и союзы трудящихся, куда великий, освежающий поток жизни и прогресса—вечно обновляющийся—ежедневно просачивается все больше и больше, тысячью крохотных ручейков, не смотря ни на какие преграды и затруднения.

Мы устраивали большой праздник, народное гуляние с афишами, с триумфальной аркой, и сам я снова сидел на самой верхушке с молотком и гвоздями, прибывая зелень и цветы.

Был вечер, и солнце клонилось к закату.

Вдруг внизу мне послышался тоненький голосок. Я осторожно посмотрел вниз; рот у меня был набит гвоздями.

Там стоял сгорбленный старичок и поглядывал наверх.

— Как! Вы все еще торчите там наверху?—заквакал он.

Подумайте! Это был граф!

Длинные белые локоны рассыпались поворотнику его пальто, такие белые, по Ингемановски ¹⁾ длинные и мягкие. О, какой маленький и усталый! Какая увядшая, пепельно-серая улыбка!.. В одной руке он держал стариковский зонтик, в другой — потертую кожаную сумочку.

О, какой это был старый, измученный человек!

Я спустился вниз. Подоздоровался с ним и повел к себе в дом через садик, весь в сирени и жасминах.

Жена моя улыбалась и наливала нам кофе. Ручеек громко журчал,

В. С. Ингеманн — датский писатель († 1862 г.), причисленный к национальным классикам.

Примеч. перевод.

кукушка куковала, в окна веяло вечерней прохладой..

— Разве не хорошо у нас! Чудесно ведь!—воскликнул я.

— Ничего себе, — поддразнил он,—здесь есть все, что полагается в романах.

Моя жена была так молода и простодушна, что приняла это за

настоящий комплимент. Когда она вышла за чем-то, я воспользовался случаем, чтобы спросить его:

— Ну, а как дело с порошком? Скоро вам удастся истребить всех насильников?

Некоторое время он сидел, молчаливый и неподвижный, как мумия; наконец, сказал:

— Это дело безнадежное. Только истребишь одного, как на его мес-

то является десяток других. Их целые толпы ждут своей очереди. Этому конца не предвидится. Пожалуй, люди в роде тех глубоководных рыб, что чувствуют себя хорошо только на определенной глубине. Стоит вытянуть их на-



Как, вы все еще торчите там наверху?—заквакал граф.

верх, как выворачиваются на изнанку от непреодолимой мании величия.

— Так значит, как же теперь с вашим лечением порошком?

— Не думаю, чтобы его стоило продолжать. И что за беда, если на свете и будет сотня-другая безумцев, страдающих манией величия! Пусть только народ сам хорошенько отбивается от них, потому что их только и можно образумить нашим снизу... И наилучшею средою для развития разума, повидимому, являются все-таки низы.



Я вышел на минутку загнать кур прежде, чем лиса отправится в ночной обход.

Когда я вернулся, графа в комнате не оказалось, но навстречу мне струился хорошо знакомый запах гелиотрона, а на полу серела скромная кучка пыли—трогательно маленькая, скромная.

Гм,—подумал я, так он исчез!

На столе лежала записка со словами:

„Прощайте, мой друг. Передайте привет вашей жене. Она очень мила“.

На далеких окраинах.

ЖЕНЬ ШЕНЬ

Рассказ Н. Ловцова.

ОТ РЕДАКЦИИ. Корень жень-шень—растение очень редкое и нежное. Он водится и в нашем Уссурийском крае, среди отрогов хребта Сихота Алиньюсь, но со времени появления русских переселенцев, с увеличением лесных пожаров, стал пропадать и жень-шень. Соответственно с этим поднялась на него и цена. Прежде платили за фунт жень-шеня рублей 150—200, теперь он стоит уже 300—400 рублей. А его сбор во всем крае с 3—4 пудов в год сократился до 1—2. Количество же ищущих корень не уменьшилось. Чудесному жень-шеню китайцы и корейцы приписывают разные целебные свойства, вплоть до превращения старика в молодого (омолаживания). Лечащийся должен приготовить корень с особыми снадобьями, известными только китайцам, и принимать его в определенные месяцы года в количестве, увеличивающемся с каждым приемом.

Ляо — бедный китаец. Все его имущество—это одежда, что на нем, а его одежда—рваные ватные куртка и штаны, стоптанные русские сапоги, спереди —промазанный передник, а сзади—барсучья шкура, да еще деревянный браслет на левой руке. Промазанный передник,

барсучья шкура и браслет говорят, что Ляо—искатель жень-шеня.

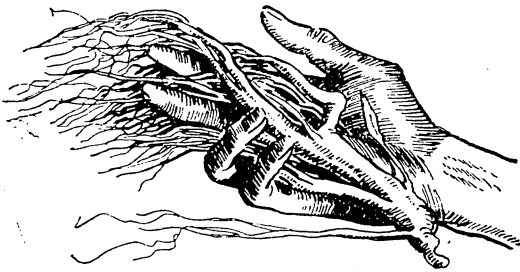
Июнь. Колос ржи и ячменя на русских полях потянул стебель книзу. Птаха вывела птенцов. Молодые волчата забегали по бурелому.

Ляо набрал себе немного буды, взял в руки палку, на пояс подве-

сил костяные палочки и целиной пошел в тайгу искать свое счастье. Ляо уже десять лет ищет жень-шень. Раньше он добывал до двух фунтов корня в год, а теперь вот уже два лета бродит по русскому краю и нигде не может найти жень-шеня.

В голове бедного Ляо одна мысль: неужели и теперь он не найдет пан-цуй (корень жень-шень)?!. Неужели и теперь дух гор и лесов обведет его мимо целебного растения, которое ему теперь нужно уже не для продажи. Ему самому необходимо избавиться от старости, сделать себя молодым.

Недели текут. Ляо в лохмотьях, голодный, все идет по тайге, без дороги, без троп, надламывая веточки ¹⁾, и смотрит в землю, стараясь среди густой листвы рассмотреть пан-цуй.



Только к ночи он добыл себе пан-цуй.

Вот в тени, под высокой скалой, в том месте, где никогда не бывает солнца, Ляо увидел высокий мочковатый куст, с пятипальными широкими листьями, похожими на руки человека.

Ляо задрожал. Он бросил палку, сам пластом лег на землю и криком сердца заголосил:

— Пан-цуй, не уходи, я чистый человек, я душу свою освободил от грехов, сердце мое открыто и нет у меня худых помышлений ²⁾.

¹⁾ Искатель жень-шеня надломом веток дает знать другому искателю, что тут делать нечего: прошел уже один и все осмотрел.

²⁾ Слова—одинаковые для всех искателей жень-шеня в Уссурийском крае. Китаец верит, что если их не произнести, то корень не дастся в руки.

В мозгу китайца пронеслось: а вдруг он испорчен?—и корень глупо уйдет в землю, скала, под которой пан-цуй вырос, начнет стонать и колебаться, а из заросли выскочит дух гор (тигр). Ляо боялся открыть глаза. Ветер шумел, вдали завывал волк, а ему казалось, что это стонет жень-шень.

Но вот он приоткрыл свои косые глаза и—о радость!—перед ним остался стоять его пан-цуй. Он вскочил, осторожно огляделся, внимательно осмотрел землю кругом,—здесь был только его корень, других нет. Палочками Ляо обил землю, осторожно руками вытаскивал каждый корешок жень-шеня и только к ночи добыл себе пан-цуй.

Горел костер. Над ним в манерке китаец варил корень, спускал к нему оленьи рога и клал еще что то. Вода кипела, острый запах резал ноздри. Жень-шень готов. Ляо расчистил землю, перевернул мездрой вверх свою шкуру, вытащил корень из котелка и стал из мягкого мясистого пан-цуя катать шарики, перемешивая их с клейкой массой рогов оленя. В голове Ляо твердил молитвы. Он заклинал богов помочь ему, пожалеть бедного китайца, который опять хочет быть молодым, сильным, начать вновь свою жизнь.

Пилюли готовы.

Спустилась ночь. Над тайгой заходил ветер, раздул головни и заметал искры в глухую даль.

— Духи гор запрещают принимать пан-цуй на этом месте,—решил китаец, спрятал пилюли и под огнем толстых головней задремал.

Во сне он видел Жень-Шень. Он видел, как Жень-Шень, молодой красивый человек, идет на бой с Сон-ши, хунхузом. Перед Ляо промелькнул бой и он с радостью увидел, как Сон-ши попал в плен к Жень-Шеню, который бросил его в яму. Но вот сестра Жень-Шеня полюбила Сон-ши, спасла его и снова Жень-Шень поймал хунхуза и вступил с ним в бой. Ножи сверкали. Оба катались по земле, и у скалы, где Ляо вынул пан-цуй, Сон-ши убил Жень-Шеня и сам умер



от ран противника. А сестра Жень-Шеня заплакала громко на всю тайгу ¹⁾.

От ее крика Ляо проснулся. Утро. Солнце еще не поднялось. Над ним последний раз кричала карликовая сова.

Ляо поднялся, осмотрел с ужасом место, где рос жень-шень, и бегом помчался к реке Иману. На берегу он принял пилюли и на бревне решил переправиться на другой берег.

Но что с ним? Чудо уже совершается?! Он не может двигаться. Его трясет. Он ждет превращения. Он чувствует, как голова у него начинает кружиться, а внутри горит кровь.

Ляо потерял сознание. Раскинулись на горячие камни руки, голова упала на широкую листву травы.

¹⁾ Легенда о появлении жень-шеня в виде юного богатыря очень распространена среди китайцев Уссурийского края.

С накаленного солнцем камня, к нему на ладонь заползла змея и свилась клубком.

Теперь снова Ляо увидел Сон-ши, но сейчас Сон-ши был живой и острым ножом резал руку китайца, по которой текла его горячая и уже молодая кровь. Ляо хотел крикнуть, хотел сбить Сон-ши, но Великий Хунхуз обхватил его шею холодными пальцами и снова вместе с ним покатился к реке, где на новом месте лежал мертвый Жень-Шень.

Когда спустилась ночь, у истока Имана, среди камней, лежал на прежнем месте китаец Ляо.

На его груди свились клубком две змеи. Над головой, на высоком кедре, сидела карликовая сова, а из чащи леса к Ляо осторожно шли четыре красных уссурийских волка.



С датского.

Карла Эвальда.

Рисунки А. Ушина.

О СОЧИНИТЕЛЯХ

Сотворив землю и людей, бог сообразил, что не годится им ежедневной болтаться без дела.

Он и дал каждому занятие по силам и способностям. Одного посадил ковырять землю, другого — кропать в газетах. Одних сделал пасторами, полицейскими, других — ростовщиками, банкирами. Кого пустил гулять с мешком золота за плечами, кого — с нищенской сумою. Одного поставил спасать гибнущих в море, другого — разгавать медали за спасение погибающих. Того сделал солдатом, этого — генералом; Кого приспособил строить дома, а кого — поджигать их.

Когда все занятия и должности были распределены, люди, взялись каждый за свое дело, и вначале были очень довольны, а бог, сидя на небе, любовался на их счастье. Но так как он знал их и не вполне на них полагался, то и устроил так хитро, что на земле время от времени возникала сумятица, и порядки менялись. Возьмет, например, да незаметно и сунет маршальский жезл в ранец солдата!

Но вот раз, глядя на людей и радуясь, что все так хорошо устроил, бог увидел кучку людей, державшихся особняком и ровно ничего не делавших.

Росту они были небольшого, шуплые, длинноволосые и либо задирали, либо вешали нос. Каблуки у всех были стоптаны, и штаны коротковаты.

— Господи помилуй, — сказал бог, про них-то я, видно, и позабыл со-

всем! А теперь все должности уже распределены.

Те слышали его слова, но уселись себе на травку с таким видом, словно им и не нужно никакого дела.

А бог удалился к себе во внутренние апартаменты изадумался — как же теперь быть с ними?

Через некоторое время он вышел и сказал тем:

— Ну, все места и должности я уже роздал, да и не похоже чтобы вы годились для настоящего дела. Но подите сюда, я вам скажу кое-что. Вы будете рассказывать о том, что делают другие — о войне и о любви, о морали и о политике, обо всем, понимаете? Вот время у вас и пройдет. И чем замысловатее, красивее, будете вы рассказывать, тем больше будет вам почета от людей.

БОГ И КОРОЛИ

С течением времени людям так осточертели их владыки — короли, что они решили отправить депутацию к господину богу, просить у него избавления от этой напасти.

Депутацию благосклонно приняли у райских врат и, когда очередь дошла, впустили. Но, когда глава депутации изложил дело, бог с неудовением покачал головой:

— Ничего не понимаю. Я никогда не ставил вам королей.

Они же на перебой привялись жаловаться, что земля полна королей, которые все объявляют себя „владыками милостью божией“.

— В первый раз слышу, — сказал бог. — Я создал вас всех равными, по своему подобию. Прощайте!

Аудиенция тем и кончилась, но депутация уселась за воротами и принялась горько плакать.

Узнав об этом, бог пожалел людей и разрешил опять впустить депутатов. Затем позвал архангела и сказал ему:

— Просмотри книгу, где у меня записаны все казни, которые я насылал на людей за грехи их, и скажи—упомянуты-ли там короли.

Книга была толстая, так что архангел просидел за нею целый день. Вечером он доложил, что ничего не нашел. Депутатов опять ввели, и бог сказал им.

— Мне ничего не известно о ваших королях. Прощайте!

Тогда бедняки впали в такое отчаяние, что бог еще раз

сжалился над ними. Опять призвал архангела и сказал: Посмотри книги, где записаны у меня все бедствия,

которые накликали на себя сами люди своими неразумными молениями и прошениями, не доверяя, что я мудрее их и сам знаю, что им нужно.

Архангел повиновался приказу, но книг была целая дюжина, и чтение заняло у него двенадцать дней. И опять он ничего не нашел!

Тогда бог принял депутацию в последний раз и сказал:

— Придётся вам вернуться домой ни с чем. Я ничего для вас сделать не могу. Короли—ваша собственная выдумка, и, если они стали вам невтерпеж, постарайтесь и отделаться от них сами!

ОХОТНИК ЦЕЛОВАТЬСЯ.

Святой Петр сторожил у райских ворот, поглядывая на „тесный путь“. Свечерело, и он уже соби-

рался запереть ворота, да увидал человека и приостановился.

— Торопись!—закричал он человеку.—Солнце давно село, и я сейчас запираю ворота.

— Мне спешить незачем,—крикнул тот в ответ.—Успею, куда надо.

Такой ответ столь изумил Петра, что он так и остался стоять в воротах, пока человек не подошел.

— Так-то ты спешить попасть в рай!—упрекнул его Петр.—Ну, давай сюда проходное свидетельство. Посмотрим твой аттестат, каков?

— Не важный,—отозвался человек.—Но я и не собираюсь остаться здесь. Мне бы хотелось только спросить здесь кое-о чем.

— Давай бумагу,—строго сказал Петр.

Человек подал и Петр, посмотрев, сердито объявил:

— И как тебе в голову пришло сунуться сю-

да с таким аттестатом! Ты только и знал, что с девушками целовался. Таким молодцам здесь не место.

— Марш! И он обернулся, чтобы закрыть ворота, а человек-то прошмыгнул мимо него в ворота и во всю прыть припустился в рай.

— Держи! Держи!—завопил Петр и—в погоню за ним.

А бог как раз вышел на прогулку со всею своею архангельскою свитою. Он спросил что случилось, и человек припал к его стопам:

— Господи! Я воровски проник сюда и сейчас-же уйду, так как знаю, что мне тут не место. Но я прошу у тебя позволения задать тебе один вопрос.

— Спрашивай,—разрешил бог.

— Видишь-ли, на земле я страсть как любил целоваться с девушками. За это я обречен на вечную муку. Но зачем же, господи, ты вложил в меня такую страсть к поцелуям, если



целоваться—грех? И за-
чем сотворил девушек та-
кими милашками?

— Вон его!
Вон! — кричал
Петр.

— Вон его! —
кричали архан-
гелы.

Но бог от-
вернулся,
усмехаясь



в бороду, и распоря-
дился:

— Оставьте че-
ловека здесь! —
Затем взглянул на
Петра и строго
добавил: — Но
смотри, чтобы
девушки сюда
не попа-
дали!

НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!

ЗАДАЧА № 8.

Между городами *A* и *B* ходит через холм автобус. При подъеме



на холм он идет со скоростью 25 км в час, а при спуске—со скоростью 50 км в час.

От *A* до *B* он идет 2 часа; обратно— $2\frac{1}{2}$ часа.

Найти арифметическим путем расстояние между *A* и *B*.

При ответе указать способ решения.

Первый, решивший эту задачу, получит в премию книгу М. Я Яковлева „Народное песнотворчество об атамане Стеньке Разине“.

Почтовый штемпель служит доказательством времени отправки решения в Издательство.



„СВИННАЯ КОЖА“,
вождь Озагов.

БОГАТЕЙШИЕ В МИРЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ



„КРАСНЫЙ ОРЕЛ“,
другой вождь Озагов.

Очерк Н. Ланге.

От редакции. Индейцы-озаги, влачавшие до сих пор жалкое существование в покоренной европейцами местности, стали вдруг, по странному капризу судьбы, богатейшей в мире общиной.

Каждый член этого племени имеет ежегодный доход в 8—12 тысяч долларов, т. е. в 16—24 тысяч рублей. Но деньги ничего не дают этим детям природы. И характерно: культурные угнетатели снабдили индейцев деньгами, но не могли привить им свою любовь и почтение к капиталу. Озаги простодушно и весело, поистине как дети, тратят безмятежно свои доходы, разбрасывая их кругом себя с примитивной простотой.

Вдали от всего мира, среди пустынных прерий юго-западной Оклахомы, в Сев. Америке, находится провинция Озага, или, как говорят в той местности, национальный штат Озага. Нельзя себе представить более неблагоприятного для жизни уголка земли. Климат отвратителен, летом царит влажный зной, зимой—дожди и бури. Скалистая почва и летняя жара не дают возможности заниматься земледелием. Пастбища местами недурны, но отдаленность рынков и отсутствие путей сообщения лишают туземцев возможности заниматься скотоводством.

И, несмотря на все это, население такого бесплодного куска земли стало самым богатым во всем мире. Каждый индеец-озаг имеет со дня своего рождения ежегодный доход по крайней мере в 8, а то и в 12 тысяч долларов, т. е. от 16 до 24 тысячи рублей. Это богатство имеет свою коротенькую, но очень интересную историю.

В середине прошлого столетия Сев. Американские Соединенные Штаты были очень озабочены вопросом, как поступить с индейцами Северо-Восточной Америки. Индеец неохотно принимает культуру. В половине девятнадцатого столетия индейцы все еще оставались дикарями и в плодородных местностях юго-востока, как и в штатах Миссури и Арканзас, противились культурными начинаниями европейцев.

Не было возможности разрешить этот вопрос, пока один государственный человек не предложил переселение индейцев в обширные земли, приобретенные в 1803 г. у Франции, а именно в Луизиану. Совет показался мудрым, и так называемые „пять цивилизованных племен“ (Крики, Чокта, Чикаса, Чорокезы и Семинолы) были переправлены на юго-запад в местность, причисленную к штату Оклахома; только часть семинолов не захотела подчиниться этому распоряжению. Они бежали в дикие степи Флориды, где

еще по сегодняшний день живут некоторые потомки этого свободолюбивого племени.

Но на пути цивилизации, пробиравшейся на запад, встретился новый камень преткновения—индейское племя озагов, жившее в южном Миссури и северном Арканзасе. Решили и с ним поступить, как с пятью „цивилизованными племенами“. Но озаги были гораздо воинственнее, и только после долгой борьбы удалось в 1871 г. переселить их в южный Канзас, где они и оставались до 1907 года.

Культура имела на них, как и на большинство американских индейцев, пагубное влияние. Они гибли тысячами. Переселение же на запад все продолжалось, настигло и окружило их кольцом. Снова был дан приказ передвинуть озагов дальше. На этот раз им отделили пустынную местность, где они получили 657 десятин. В плодородной земле это был бы богатый надел. Но из этой бесплодной земли едва удалось извлечь лишь самое необходимое для жизни. Неизвестно, выжило ли бы племя озагов, если бы государственный чиновник в Павхуске, столице этой области, не снабдил их теплым платьем и съестными припасами.

Новсе это относится к прошлому.

За последние пять лет жизнь озагов изменилась самым чудесным образом. В отведенной им области открылись богатейшие нефтяные источники. Племя сохраняет свои права на землю, из которой добывается нефть. Власти отдали в аренду нефтяным обществам только недра земли. Эта аренда дает сказочные доходы. Каждый член племени имеет равные права на часть этого бо-

гатства. Когда приходит срок уплаты, озаги уж не бегут в Павхуску, чтобы купить несколько коробок консервов и пару одеял. Они важно подъезжают на автомобилях и получают чеки на сказочные суммы. Каждый индеец получает одинаковую сумму, вне зависимости от того, нашлась ли нефть на лично ему принадлежащем куске земли.

Неожиданный поток денег, наводнивший эту населенную дикарями местность, привлек, конечно, множество подозрительных лиц, занявшихся эксплуатацией озагов. Власти назначили тогда особых попечителей для не совсем зрелых членов племени. Все же у озагов находится достаточно случаев своеобразно распоряжаться своим богатством.

Павхуска—столица штата Озаги—старый индейский торговый пункт. Постройки его довольно беспорядочно разбросаны по прерии. Среди них много массивных каменных домов. Это—крепостные постройки, служившие защитой против враждебных индейцев во время пограничных войн. Тут многие фабриканты лучших автомобилей имеют своих агентов и, конечно, торгуют успешно.

Я был как то раз в лавке оптика. В это время к нему вошли два индейца,—Дик Файр и его супруга. Дик был одет хоть и в слегка измененный, но все же типичный наряд индейцев. На ногах мокассины, жемчугом вышитые штаны из оленьей кожи, такая же рубашка, а сверх всего этого отвратительно грязное одеяло. Единственным признаком культуры в его наряде были большие, модные теперь очки из черепахи. Дик был близорук, и купил поэтому две дюжины таких очков. На мой вопрос, зачем ему так много, Дик ответил, что ему нужно в каждую комнату и в конюшню по две пары, чтобы всегда иметь их под рукой. Жена его преважно заявила, что у Дика имеются особые очки на воскресенье, чтобы смотреть картинки в газете.

— В очках, которые я ношу ка-



„Свиная кожа“ беседует по телефону.

ждый день, я не могу смотреть,— уверял Дик.

Жена его была в еще более странном наряде, чем он сам. На плечи было накинуто неизменное грязное одеяло. Но на неуклюжих ногах ее были шелковые чулки и самые модные туфли с узкими носками.

Тот же Дик Файр купил раз в Оклахоме катафалк. Он сам сел посреди на качалке, вокруг него на полу разместилась семья, и похоронная колесница повезла их по городу.

Помню день, когда один из озагов по имени „Посох“ получил чек за четверть года. Он был на сумму в две тысячи восемьсот шестьдесят долларов.

— Мне хочется хорошенько порастрелять карман,— уверял он меня, когда мы шли в банк за деньгами.

— Какие у вас красивые волосы,— сказал он кассиру в банке,— Вот, возьмите на сигары двадцать долларов.

Из банка мы отправились на спортивную площадку смотреть игру в футбол. Индейцы страстно любят этот спорт. „Посох“ настоял на том, чтобы заплатить по десять долларов за места, стоившие по доллару. Потом он покупал огромное количество жареного маиса, и каждый раз платил продавцу по пять долларов, не беря сдачи. В другой местности такое расшвыривание денег обратило бы на себя внимание. Но жители Павхуски привыкли к таким выходкам. „Посох“ пожелал сигар, и так как по близости достать их было нельзя, то он послал за ними автомобиль и дал шофферу невероятную сумму на чай. Когда состязание кончилось, и мы отправились в город, он купил еще несколько пар самых дорогих шелковых чулок.

— Это нужно моей старухе,— заявил он.

Тут же ему пришло в голову купить себе шляпу и, конечно, самую дорогую. Но минуту спустя эта шляпа была брошена в канаву, и он купил другую, такую же доро-

гую. Эта оргия продолжалась весь день до глубокой ночи.

Дом „Посоха“ находился на краю селенья, в нескольких километрах от Павхуски. Озагам, в сущности, мало дела до того, в каком доме они живут. Но приобретение дома, кухни, которой их женщины никогда не пользуются, варя пищу на костре на улице — дает им возможность тратить деньги.

„Посох“ очень гордился своим новым граммофоном. Он подробно объяснял мне, как им пользоваться и выказывал при этом детскую радость. Я заметил, что все его пластинки напеты мировой знаменитостью.

— Да,— сказал он,— мы любим ее слушать:—она так громко кричит.

Другой индеец — „Дикая Кошка“ — отправился как-то раз в Мускапи, близлежащий город. Карманы его были набиты деньгами и он заявил, что хочет купить себе что-то, о чем мечтал всю жизнь. Хозяин ювелирного магазина, куда вошел „Дикая Кошка“, бросил всех покупателей, чтобы заняться индейцем. Он, конечно, сейчас же размечтался о сказочно-выгодной крупной продаже. Но „Дикая Кошка“ торжественно купил совсем дешевые часы с толстой никкелированной цепочкой и преважно вышел из магазина. Его покупка стоила около 3-х долларов.

Озаги не всегда так скромны в своих прихотях. Желания их часто бывают направлены на автомобили в двадцать сил.

До запрещения алкоголя они сильно пьянствовали. Теперь же у них очень распространены агавовые бобы, — яд, действующий, как опий.

Обычаи озагов мало интересны. У них не приняты праздничные танцы, как у их соседей Понков.



Типичная
женщина ин-
дианка Озаго
с ребенком.

Но у них есть обычай передавать из поколения в поколение сказки и басни. Интересно, что некоторые из этих легенд имеют большое сходство с греческим мифом об Атланте и золотых яблоках. Конечно, в древности эти легенды имели свое значение, но, с приходом белых людей, рассеялась власть грозных волшебников, и озаги забыли скрытый смысл своих легенд.

На нефтяные промыслы озаги смотрят с некоторым презрением. Я как-то посетил с одним молодым индейцем нефтяной городок. Этому городу было всего два месяца, а населения насчитывалось более, чем 4 тысячи человек. Такие города растут, как грибы. В этом новом городе были и банки, и кинематографы, и школы. Шел дождь, и грязь на улицах была по колено. Несмотря на это, улицы кишели всякими авантюристами. Новый фонтан привлекал этих людей со всех концов мира. Жизнь шла лихорадочным темпом. Грязь и падение показывали свое отвратительное лицо. Мой друг индеец, принадлежавший к молодому поколению и получивший уже образование, обернулся ко мне и сказал:

— Как это случилось, что так много моих соотечественников живут по собственному желанию в этом аду, когда в мире столько красоты?

Судьба этого озага, несмотря на все его богатство, была очень печальна. От индейцев его отдалило его развитие; для европейцев же он, как это всегда бывало, остался „только индейцем“. У него нет ни товарищей, ни близких друзей, не считая таких же членов племени, как и он. Эти жалкие люди приведены силой обстоятельств к тому, что убивают время бесцельным катанием на дорогах автомобилях, достают всякими способами запрещенное виски и влечат существование, лишённое всякого интереса.

Что касается необразованных озагов, то они как раз теперь переживают тяжелый переход от варварства к культуре. Богатство для них тяжелое бремя, умножающее только возможности познавать все пороки культуры.

В тысячу раз счастливее судьба самых бедных крестьян и рабочих, чем этих богатейших бездельников!

От редакции. Когда уходит гений или исчезает в сумерках последний отблеск вечерней зари, мы ощущаем мрак. И когда нас навсегда покидает человек, казавшийся нам бессмертным, мы испытываем чувство обиды.

Мы знаем, что появятся другие яркие звезды и что и перед ними будут склоняться с восторгом. Но эта, закатившаяся звезда, ведь, уже не вернется!

Лира Джозефа Конрада замолкла. Когда были написаны последние строки „Души война“, он навсегда отложил ее в сторону. Этот рассказ — лебединая песня большого мирового таланта, родного нам: — он русский поляк. Ни один из рассказов Джозефа Конрада не сравнится по силе и драматичности с „Душой война“.

И по теме своей рассказ особенно интересен для русского читателя, хотя Конрад писал его по-английски: сюжет повествования — имеющий историческую подкладку эпизод из Великой эпопеи 1812 года. Прибавим, что и стиль выдержан автором в характере эпохи начала прошлого века. Стиль, как увидит читатель, сохранен в переводе.

Ужас и страдание не могут быть изображены сильнее, чем в сцене, где французский воин, умирающий и больше похожий на тень, чем на человека, приходит в стан врагов — русских, и просит Томасова, которому когда-то спас жизнь, уложить выстрелом долг и положить конец его мученьям.

Конрад никогда не поучает, он просто держит перед людьми зеркало, в котором они могли бы увидеть себя и вывести мораль из этих собственных отражений.

В Маракисе есть фонтан, окруженный пальмами.

На нем — древне-арабские письмены:

— Пей и восхищайся!

Читайте и восхищайтесь, и благодарите природу, дающую воду жаждущим и изредка посылающую освежение для ума и сердца.



С английского перевод **Анны Бонди.**

Иллюстрации **М. Мизернюка.**

Старый воин с длинными седыми усами дал волю своему возмущению: — Возможно ли, чтобы у вас, молодежи, было так мало здравого смысла! Кое-кто из вас лучше сделал бы, если бы стер с губ молоко, прежде чем выносить приговор нескольким жалким остаткам поколения, которое в свое время не мало сделало и страдало.

Слушатели выразили раскаяние, и воин былых времен успокоился. Но он не умолк.

— Я один из них... я хочу ска-

зать, один из этих, отставших от старого поколения, — продолжал он настойчиво. — А что мы сделали? Что мы выполнили?... Он, великий Наполеон, пошел на нас. Мы встретили пылкость французов пустынными пространствами нашей страны, а потом дали им нескончаемую битву, так что армия их легла наконец спать на своих позициях, ложась на груды своих же тру пов. Потом была стена пожаров в Москве. Она свалилась на них же...



...Мы впервые увидели Великую Армию Наполеона. Поразительное и ужасное зрелище! Ползущая, спотыкающаяся, истощенная, полу-безумная толпа... Мы врезались в нее рысью...

Потом начался длинный путь Великой Армии. Я видел, как она неслась, как поток. Это было точно проклятое бегство ужасных, призрачных грешников во внутреннем ледяном круге Дантова Ада, все расширявшемся перед их отчаявшимися взорами.

Жизни тех, которые спаслись, должны были быть вдвое крепче вколочены в их тела, чтобы можно было пронести их через Россию в мороз, от которого треснули бы и скалы. Но если скажут, что наша вина, что хоть один из них ушел,—это будет полным незнанием дела. Что говорить! Наши солдаты сами страдали так, как только могли вынести их силы. Русские силы! Конечно, бодрость наша не была поколеблена. И цель наша была чиста, но это не смягчало жестокого ветра ни для людей, ни для лошадей.

Плоть слаба. Хороша или дурна цель, человечество должно платить дань своей слабости. Что говорить! Во время боя за эту маленькую деревню, про которую я вам рассказывал, мы бились столько же за то, чтобы иметь над собой кров этих старых домов, как и за победу над врагом. И с французами было то же самое.

Это делалось не ради славы и не из-за стратегических соображений. Французы знали, что им придется отступать еще до утра, а мы отлично знали, что они уйдут. Биться больше было не из-за чего. И все же наша пехота дралась, как дикие кошки, или, как герои, если это вам больше нравится. Среди домов деревни шло горячее дело, а подкрепления стояли в открытом поле и замерзали на бурном северном ветре, который с ужасающей силой гнал снег по земле и огромные тучи по небу. Самый воздух был странно темен по сравнению с белой землей. Я никогда не видел природу мрачнее, чем в этот день.

Нам, кавалерии, (нас была маленькая кучка) было немного дела. Надо было только поворачивать спину ветру и под случайные вы-



стрелы.

Это, могу

вам сказать, были последние выстрелы французских орудий и артиллерия их последний раз стояла на позициях. Эти орудия уже никогда не ушли оттуда. Мы нашли их на следующее утро брошенными. Но в тот день они поднимали адский огонь по нашей атакующей колонне. Бешеный ветер уносил дым и даже звуки выстрелов, но нам были видны постоянные вспышки и языки пламени на французском фронте. Потом снежные тучи скрывали все, кроме багровых вспышек в снежном вихре.

В перерывах, когда снова можно было разглядеть неприятельские расположения, нам было видно, как справа от поля битвы двигалась безконечная темная колонна. Это ползла и ползла Великая Армия, в то время, как на нашем левом фланге бой шел со страшным упорством и ожесточением. Потом ветер затих так же неожиданно, как и поднялся утром.

Нам дали приказание открыть огонь по отступающей колонне. Не знаю, какая здесь могла быть цель. Разве желание спасти нас каким-нибудь делом от замерзания в седле. Мы переменили фронт и двинулись таким шагом, чтобы очутиться во фланге этой отдаленной, темной линии. Это было, вероятно, в половине третьего.



Надо вам сказать, что до этих пор мой полк никогда еще не был на главной линии наступления Наполеона. Все эти месяцы армия, к которой мы принадлежали, мучилась на севере с маршалом Удино. Мы пришли сюда недавно, тесня его к Березине.

Это, значит, был первый случай для меня и моих товарищей повидать вблизи Великую Армию Наполеона. Поразительное и ужасное зрелище. Я уже слышал про это от других; я видел остальных солдат этой армии; видел издали небольшие банды мародеров, партии военно-пленных. Но это была сама коллона! Ползущая, спотыкающаяся, истощенная, полу-безумная толпа. Она выходила из леса в расстоянии версты и голова ее терялась в темноте полей. Мы врезались в нее рысью, которой еще были в состоянии бежать наши лошади, и застряли в этой человеческой массе, как в движущейся топи. Сопротивления не было. Я услышал несколько выстрелов, может быть с полдюжины. Казалось, что в этих людях застыл самый разум. Я успел хорошо оглядеться, пока ехал во главе моего эскадрона. И уверяю вас, что с краю шли люди настолько равнодушные ко всему, кроме собственных страданий, что они даже не повернули головы на нашу атаку. Солдаты!

Моя лошадь толкнула грудью одного из них. На несчастном был синий драгунский мундир, весь рваный, висевший лохмотьями с его плеч. Он даже не протянул руки, чтобы схватить мою лошадь под уздцы и спасти себя. Он просто упал. Наши солдаты кололи и рубили, и первый, конечно, я... Что вы хотите! Враг всегда враг! И все же в сердце мне заползала какая-то отвратительная жуть. Не было шума и суматохи, только тихое бормотание, перемешанное с более громкими криками и стонами, и толпа, не видящая и бесчувственная, продолжала катиться мимо нас. В воздухе стоял запах спаленных тряпок и сочащихся ран. Моя лошадь

останавливалась в нерешительности в этом человеческом потоке. Мне казалось, что я бью гальванизированных покойников, которые ничего не чувствуют. Завоеватели! Да... Они уже получили должное.

Я тронул лошадь шпорами, чтобы выбраться из этой толпы. Справа врезался наш второй эскадрон, последовал неожиданный натиск и что-то похожее на злобное стенание. Лошадь моя споткнулась и кто-то схватил меня за ногу. Я вовсе не хотел, чтобы меня стащили с седла и, не глядя, ударил плашмя. Я услышал крик и мою ногу сразу выпустили.

Как раз в это мгновение я увидел невдалеке от себя субалтерна нашего полка. Его имя было Томасов. Все это множество живых покойников со стекляными глазами кишело вокруг его лошади, точно слепые, и с безумным хрипом. Он сидел выпрямившись в седле, не глядя на них вниз и опустив саблю.

У этого Томасова была борода. Конечно, у нас у всех были бороды. Обстоятельства, отсутствие времени и бритвы! Нет, серьезно, в те незабываемые дни, которых не пережили многие, очень многие из нас, мы с виду были дикой толпой. Вы знаете, что и наши потери были ужасны. Да, вид у нас был дикий. *Des russes sauvages*¹⁾—что и говорить!

У него была борода,—я хочу сказать, у Томасова. Но он не был похож на дикаря. Он был самый молодой из нас всех. А это значит, что он был, действительно, молод. Издали он производил достаточно внушительное впечатление, ведь этот поход наложил на наши лица особенную печать свирепости. Но когда вы были достаточно близко от него, чтобы посмотреть ему в глаза, вы сразу видели, как ему было мало лет, хоть он и не был уже мальчиком.

Это были голубые глаза цвета осеннего неба, мечтательные и веселые, невинные и доверчивые

¹⁾ Русские дикари.

глаза. Пышные белокурые волосы окружали его лоб, точно диадема, как сказали бы, в так называемые, нормальные времена.

Вам может показаться, что я говорю о нем, точно он герой романа. Но это еще пустяки по сравнению с открытием, которое сделал наш адъютант. Он сделал открытие; что у Томасова „губы любовника“ — не знаю уж, как он себе это представлял. Если адъютант хотел сказать, что у Томасова приятный рот, то это, действительно, была правда, но сказано-то это было ради насмешки. Этот адъютант был не особенно деликатным человеком.

— Взгляните-ка на эти губы любовника! — громко восклицал он в то время, как Томасов говорил.

Томасову это не особенно нравилось. Но отчасти он сам себя выставлял на посмешище своими рассказами, темой которых была любовная страсть и которые вовсе не были так исключительны, как это казалось ему. Товарищи терпеливо относились к этим рапсодиям, потому что они были связаны с Францией, с Парижем! Вы, современное поколение, не можете себе представить, что значили эти два слова для всего мира. Париж был центром чудес для всякого человеческого существа, наделенного воображением. Большая часть из нас, молодежи, недавно выпорхнула из своих провинциальных гнезд. Мы, в сущности, были простыми деревенскими жителями. Вот почему мы рады были слушать рассказы нашего товарища Томасова про Францию. За год до войны он был прикомандирован к нашему посольству в Париже. У него, вероятно, была сильная протекция, — а, может быть, ему просто повезло.

Я не думаю, чтобы он мог быть очень полезным членом миссии, потому что был очень молод и неопытен. И, видимо, все его время в Париже было в его полном распоряжении. Он использовал это время, влюбившись, деля свою любовь и, так сказать, живя только для нее.

И поэтому он привез с собой из

Франции больше, чем простое воспоминание. Воспоминание — скоропреходяще. Оно может быть фальсифицировано, оно может быть стерто, в нем даже можно сомневаться. Да, что говорить! Я сам иногда начинаю сомневаться, что и я был в Париже. А долгий путь, с боями за каждый переход, казался бы мне еще невероятней, если бы не некая ружейная пуля, которую я носил в себе со времени маленького кавалерийского дела, случившегося в Силезии в самом начале Лейпцигской кампании.

Но переходы любви, вероятно, производят большее впечатление, чем военные переходы. В любви не атакуешь целым войском. Они исключительнее, более индивидуальные и интимны. И помните, что у Томасова все это было еще очень свежо. Он не успел пробить дома после возвращения из Франции и трех месяцев, как началась война.

Сердце и мысли его были полны пережитым. Он был поражен происшедшим и, по простоте, высказывал это в своих речах. Он считал себя чем-то вроде избранного существа, не потому, что женщина взглянула на него благосклонно, но просто потому, что, как бы это сказать? ему открылось удивительное чувство обожания к ней. О, да, он был очень наивен. Славный юноша, но далеко не дурак. И при том совершенно неопытный и доверчивый. В провинции часто встречаются такие молодые люди. Он был и немножко поэтом. Это было вполне естественным, а не приобретенным. Я думаю таким поэтом был наш отец Адам. В остальном же это был un russe sauvage, как нас называют французы, но не из тех, которые, по их уверению, едят в виде деликатеса сальные свечи. Что же касается женщины, этой француженки, то я никогда не видел ее, хоть и был тоже во Франции со ста тысячами русских. Очень вероятно, что она тогда не была в Париже. И, во всяком случае, ее двери не открылись-бы настезь перед таким простоватым человеком, как я. Зо-

лочные гостиные были не для меня. Не могу вам и сказать, как она выглядела, что странно, потому что я был поверенным в сердечных делах Томасова.

Он скоро стал стесняться говорить перед другими. Я думаю, что обычные у лагерных костров перекуды оскорбляли его тонкие чувства. Ему оставалось разговаривать со мной и мне пришлось покориться. Нельзя требовать от юноши в положении Томасова, чтобы он уж совсем держал язык за зубами. А я,—я думаю, что вам будет трудно этому поверить,—я по натуре очень молчаливый человек.

Очень может быть, что моя молчаливость была ему по душе.

Весь сентябрь наш полк квартировал в деревнях, и это было тихое время. Тогда-то я и услышал большую часть его рассказов. Историей это нельзя назвать. То, что можно назвать его излияниями, не есть история, которую я хочу вам рассказать.

Я сидел иной раз целый час, радуясь покою, пока Томасов восторженно рассказывал мне. С моей стороны получалось впечатление торжественного молчания, которое, вероятно, нравилось Томасову.

Это, конечно, была женщина не первой молодости. Может быть, вдова. Я, во всяком случае, никогда не слышал от Томасова про ее мужа. Дом ее был общественным центром, в котором она царила с большим великолепием.

У меня получалось впечатление, что свита ее состояла большею частью из мужчин. Но надо сказать, что Томасов очень искусно избегал таких подробностей в своих повествованиях. Даю вам честное слово, что я не знаю, были ли у нее светлые или темные волосы, голубые или карие глаза, какого она была роста, какие у нее были черты и цвет лица. Его любовь была выше обыкновенных физических впечатлений. Он никогда не описывал мне ее в определенных выражениях. Но он готов был поклясться, что в ее присутствии все мысли и чув-

ства вращались вокруг нее. Такова была эта женщина. В ее доме бывали разговоры на всевозможные темы, но во всех их неслышно, точно таинственные звуки музыки, сквозило подтверждение силы и власти истинной красоты. По этому можно судить, что женщина эта была прекрасна. Она отвлекала всех этих людей от их личных интересов и даже от их тщеславия. Она была тайной утехой и тайным горем всех этих мужчин. При виде ее все они начинали задумываться, точно пораженные мыслью, что растрачивали до сих пор по пустому жизнь. Она была воплощение радости и страдания.

Короче говоря, она должна была быть удивительной женщиной, или Томасов был удивительным юношей, что мог так чувствовать и так рассказывать про нее. Я говорил вам, что Томасов был большим поэтом по натуре и слова его звучали правдой. Он говорил о чарах этой выдающейся женщины. И нельзя отрицать, что поэты часто подходят к истине.

В моем рассказе нет поэзии, я это знаю, но у меня есть доля сообразительности и я не сомневаюсь, что женщина эта была добра к юноше, если допускала его в свой дом. Это настоящее чудо, что он попал к ней. Как бы там ни было, но этот невинный юнец посещал ее дом и вращался там в обществе выдающихся людей. А вы знаете, что это значит: широкие груди, лысые головы, зубы, которых нет, как выразился один сатирик. Представьте себе среди них славного мальчика, свежего и безыскусственного, точно только что сорванное яблоко. Скромный, красивый, восприимчивый и обожающий молодой варвар. Честное слово! Какое интересное разнобразие! Какой отдых для усталых чувств! И при этом еще юноша с долей поэзии в натуре, благодаря которой даже простачек не кажется дураком.

Он стал искренно, бескорыстно преданным рабом. Наградой ему были улыбки и более интимный

доступ в дом. Может быть утонченную женщину забавлял простодушный варвар. Может быть,—раз он не питался салынными свечами,— он удовлетворял ее потребности нежности. Знаете, высококультурные женщины способны на много родов нежности. Я хочу сказать, женщины с головой и воображением и без темперамента, о котором бы стоило говорить, вы понимаете? Но кто поймет потребности и капризы женщин? Чаще всего они сами не знают своего внутреннего состояния и бросаются от настроения к настроению, часто с катастрофическими результатами. И кто же тогда удивлен больше, чем они сами? Но случай Томасова был по существу совершенно идиллическим. Его преданность заслужила ему в обществе нечто в роде успеха. Но он не обращал на это внимания. У него было божество и алтарь этого божества, куда ему позволялось входить, не считаясь с официальными часами приемов.

Он широко пользовался этим преимуществом. Ведь, служебных обязанностей у него не было никаких. Сама глава военной миссии был исключительно занят успехами в свете—как это всем казалось. Как это казалось.

Однажды Томасов явился к владительнице своих дум раньше обыкновенного. Она была не одна. С ней был мужчина, не из широкогрудых лысых завсегдатаев, но человек за тридцать лет, французский офицер, тоже пользовавшийся в этом доме преимуществами. Томасов не ревновал его. Такое чувство казалось бы дерзким нашему простаку.

Он, наоборот, восхищался французом. Вы понятия не имеете о престиже французских военных в те дни, даже среди нас русских, которые знали их, может быть, лучше, чем другие. Казалось, что победа навсегда отметила их. Они были бы более, чем люди, если бы не сознавали этого. Но они были хорошими товарищами и у них были какие-то братские чувства ко всем,

носившим оружие, даже если оно было поднято против них.

А это был пример такого французского воина. Он был могучего сложения, воплощение мужественности. Его белый, как алебастр, лоб был контрастом со здоровым цветом его лица.

Не знаю, ревновал ли он Томасова, но подозреваю, что юноша раздражал его, как ходячая сентиментальная нелепость. Но такие люди, как он, непроницаемы внешне он снисходил до того, чтобы признавать существование Томасова даже больше, чем этого требовали приличия. Раз или два он давал ему с полнейшим тактом и деликатностью полезные советы. Томасов был совершенно покорен этой явной добротой, скрывавшейся под холодным внешним лоском.

Когда Томасова провели к хозяйке дома, она и офицер сидели на диване и у них был такой вид, точно молодой человек прервал какой-то интересный разговор. Томасову показалось, что они как-то странно взглянули на него. Но ему не дали понять, что он помешал. Некоторое время спустя хозяйка дома сказала офицеру—его звали де-Кастель:

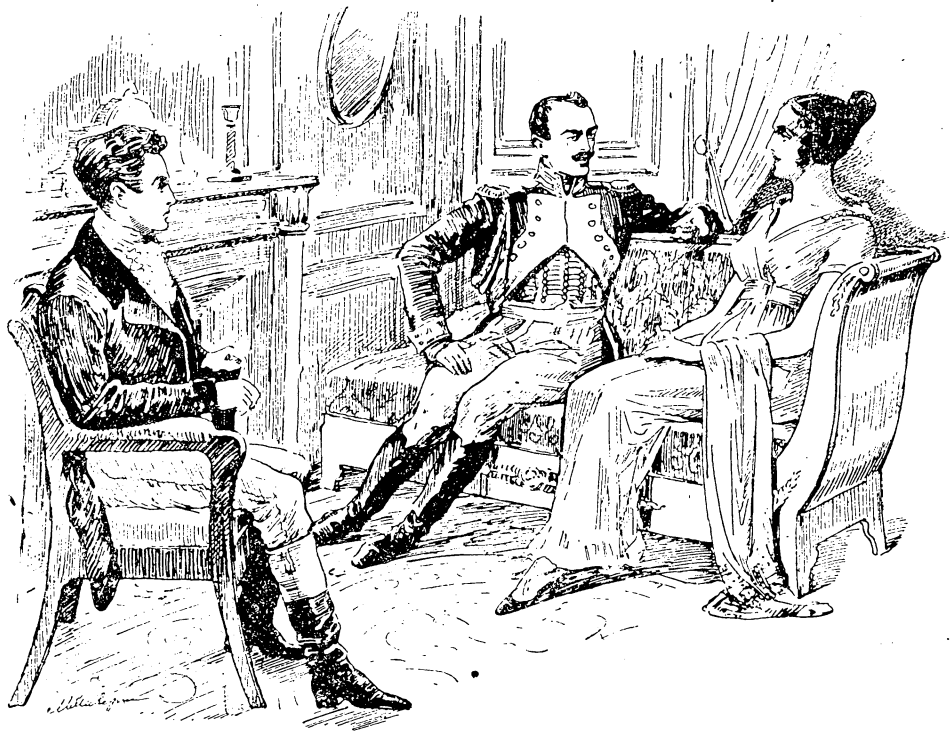
— Я хотела бы, чтобы вы взяли на себя труд установить истинность этого слуха.

— Это гораздо больше, чем слух,—заметил де-Кастель. Но он покорно встал и вышел. Хозяйка дома повернулась к Томасову и сказала:

— Вы можете остаться со мной.

Выраженное ею желание сделало его бесконечно счастливым, хоть он и не собирался уходить.

Она смотрела на него ласковым взглядом и от этого у него в груди что-то начинало пылать и шириться. Это было восхитительное ощущение, хоть от него и перехватывало дыхание. Он в экстазе упивался звуками тихих, очаровательных слов, произносимых ею. Разговор ее был полон незинной веселости и спокойного остроумия. Ему казалось, что его страсть разгоралась и охва-



Хозяйка дома и офицер сидели на диване. Томасову показалось, что на него странно взглянули..

тывала ее голубыми огненными языками с головы до ног и выше головы, а сама она оставалась в центре этого пламени, как большая белая роза...

Гм, отлично. Он говорил мне еще многое в этом роде. Но это я запомнил. Он сам помнил все подробности, потому что это были его последние воспоминания об этой женщине. Он видел ее тогда в последний раз, хоть и не знал этого.

Де-Кастель вернулся, нарушая атмосферу очарования, которой упивался Томасов до потери сознания внешнего мира. Томасов не мог не заметить благородства его движений, естественной простоты манер, его превосходства над другим мужчинами и Томасов страдал от этого. Он думал о том, что эти два блестящих существа созданы друг для друга.

Де-Кастель, садясь на диван рядом с хозяйкой дома, тихо сказал ей: — Нет ни малейшего сомнения, что это правда, — и они оба взгля-

нули на Томасова. Вызванный из состояния очарования, Томасов стал сразу застенчивым. Он сидел, слабо улыбаясь им.

Не отводя от краснеющего Томасова глаз, женщина сказала с мечтательной, не свойственной ей серьезностью.

— Я хотела быть уверенной, что ваше великодушие может быть велико — без малейшего пятнышка. Высочайшие порывы любви должны быть источником всякого совершенства.

Томасов широко раскрыл от восхищения глаза, точно губы ее роняли жемчуг. Но чувства эти были выражены не для простенького русского юноши, а для восхитительно утонченного человека — де-Кастеля.

Томасов не видел впечатления, произведенного этими словами, потому что француз сидел, опустив голову и внимательно разглядывал свои великолепно наполированные сапоги. Женщина шепнула сочувственно:

— У вас есть сомнения?

Де-Кастель пробормотал, не поднимая головы:

— Это можно было бы превратить в недурной вопрос чести.

Она живо возразила:

— Это, без сомнения, искусственно. Я за естественные чувства. Я не верю ни во что другое. Но, может быть, ваша совесть...

Он перебил ее:

— Совсе нет. У меня не детская совесть. Судьба этих людей не имеет для нас военного значения. Что это может изменить? Счастье Франции непоколебимо.

— Так тогда..., — произнесла она многозначительно и встала с дивана. Француз тоже встал. Томасов поторопился последовать их примеру. Он страдал от того, что находился в полном мраке. Когда он взял руку хозяйки дома, он услышал, как француз сказал с подчеркнутым подъемом:

— Если у него душа воина (в те времена люди, действительно, говорили таким языком), если у него душа воина, он должен был бы упасть в благодарности к вашим ногам.

Томасов почувствовал, что погружен теперь в еще больший мрак. Он последовал за французом из комнаты и из дому, потому что понимал, что этого ждали от него.

Начинало темнеть, погода была очень плохая и улица совершенно пустынна. Француз как-то странно задерживался на улице. Томасов тоже не торопился, не теряя терпения. Он никогда не торопился удаляться от дома, в котором она жила. Кроме того, с ним случилось нечто удивительное. Она крепко пожала на прощание его руку. Он получил тайный знак расположения! Он был почти испуган. Земля покачнулась и еще не вернулась к своему обыкновенному положению. Де Кастель вдруг остановился на углу тихой улицы.

— Я не хотел бы, чтобы меня видели с вами на освещенных улицах, мосье Томасов, — сказал он странно суровым голосом.

— Почему? — спросил молодой человек, слишком удивленный, чтобы быть обиженным.

— Из осторожности, — коротко ответил тот. — Нам придется расстаться, здесь. Но прежде, чем расстаться, я открою вам нечто, важность чего вы сразу поймете.

Пожалуйста, запомните, что это был вечер в конце марта 1812 года.

Давно уже говорили о холодных отношениях между Россией и Францией. В домах все громче шептались об этом и, наконец, это стало слышным и в официальных кругах. Вскоре парижская полиция открыла, что наша военная миссия подкупила чиновников в военном министерстве и получила от них некоторые очень важные секретные документы. Эти презренные люди (их было двое) сознались в своем преступлении и должны были быть расстреляны в эту ночь. Завтра об этом будет говорить весь город. Но хуже всего было то, что Наполеон был вне себя от злобы и решил арестовать русского посланника.

Вот, что сообщил де-Кастель. Он говорил тихим голосом, но Томасов был оглушен, точно от удара грома.

— Арестовать! — бормотал он в отчаянии.

— Да, и держать, как государственного преступника вместе со всеми, принадлежащими к посольству...

Француз схватил руку Томасова выше локтя и крепко пожал ее.

— И держать пленными во Франции, — повторил он на ухо Томасову и, опустив его руку, отошел от него и остался стоять молча.

— И это вы, вы мне говорите! — воскликнул Томасов в порыве благодарности, которая едва ли была больше, чем его восхищение великодушием будущего врага. Мог ли брат сделать для него больше! Он хотел схватить руку французa, но тот был плотно закутан в плащ. Может быть, он не заметил во мраке этого порыва. Он слегка отступил назад и спокойно, точно говорил через карточный стол или как-ни-



Француз схватил руку Томасова и крепко позжал ее... Наполеон решил арестовать русского посланника...

будь в этом роде, обратил внимание Томасова на тот факт, что дорога каждая минута, если он хочет воспользоваться предупреждением.

— Да, конечно,—согласился проникнутый благоговением Томасов,— так прощайте. Нет слов, которыми я мог бы поблагодарить вас за ваше великодушие. Но клянусь, что если мне только представится случай, вы можете распоряжаться моей жизнью...

Но француз уже скрылся вдали темной, пустынной улицы. Томасов остался один и не потерял драгоценных минут этой ночи.

Подумайте, как в историю попадает простая болтовня. Во всех мемуарах того времени вы прочтете, что нашего посланника предупредила какая-то знатная женщина, которая была в него влюблена. Конечно, было известно, что он пользовался успехом у женщин, но на самом-то деле предупредил его никто иной, как простак Томасов, бывший любовником совсем другого сорта, чем посланник.

Вот секрет, каким образом спасся от ареста наш представитель. Он и весь его официальный штат благополучно выбрались из Франции — как сообщает нам история.

А в числе этого штата был, конечно, и наш Томасов. У него была, по словам француза, душа воина. А может ли быть что-нибудь ужаснее для такого человека, как очутиться пленником накануне войны. Быть отрезанным от родины, когда она в опасности, от его военной семьи, обязанностей, чести и — что-ж! — и от славы тоже!

Томасов содрагался при одной мысли о нравственных пытках, которых избежал. И он лелеял в сердце безграничную благодарность к двум людям, спасшим его от жестоких страданий. Эти люди были удивительны! Для него любовь и дружба были два вида высочайшего совершенства. Он нашел два лучших примера этого и отношение к этим людям стало для него каким-то культом. Это повлияло на его отношение вообще к французам, хоть он и был большим патриотом. Он, конечно, возмущался вторжением врага, но в этом возмущении не было ненависти к отдельным личностям. Томасов был истинно хорошей натурой. Его огорчали человеческие страдания, которые он видел кругом. Да, он был полон сострадания ко всем видам людских горестей, не переставая быть настоящим мужчиной.

Менее тонкие натуры, чем он, не понимали этого. В полку его прозвали Сострадательный Томасов.

Он не обижался на это. Сострадание совместимо с душой воина. Люди без сострадания — это чиновники, торговцы и подобные им. Что же касается свирепых разговоров, которые слышались во время войны от приличных людей, то надо сказать, что язык в лучшем случае непокорный орган и если есть что-нибудь волнующее, то невозможно остановить его неудержимую деятельность.

Я не был особенно удивлен, видя, как Томасов вложил спокойно саблю

в ножны в разгаре этой атаки, как вы бы могли назвать. Он был молчалив, когда мы ехали обратно. И обыкновенно-то он не был болтуном, но ясно, что зрелище этой Великой Армии произвело на него глубокое впечатление. Я всегда был твердым человеком, а тут даже я... а Томасов был, ведь, поэтом. Можете себе представить, как это подействовало на него. Мы ехали рядом, не раскрывая рта. Это просто было сильнее слов.

Мы расположились бивуаками по опушке леса, так, чтобы иметь защиту для наших лошадей. Но бурный северный ветер затих так же быстро, как и налетел, и великий зимний покой лег на страну от Балтийского и до Черного моря. Можно было почти ощущать его холодную, безжизненную безграничность, достигающую до звезд.

Наши люди зажгли несколько костров и расчистили вокруг снег. Вместо сидений у нас были большие чурбаны. В общем, это был очень сносный бивуак, если даже не говорить о восторгах побед. Мы должны были почувствовать это позднее, теперь же мы были подавлены нашей суровой и трудной задачей.

Вокруг моего костра сидело трое. Третий был адъютант. Он был, может быть, и добродушным человеком, но мог бы быть лучше, если бы его манеры не были так грубы и понятия не так суровы. Он рассуждал о людях, точно человек был... ну, хотя бы просто двумя, сложенными крест на крест палками. На самом же деле человек больше напоминает море, движения которого слишком сложны, чтобы их можно было объяснить, и из глубины которого могут подняться, бог знает, какие неожиданности.

Мы поговорили об этой атаке. Не долго. Такие темы не поддаются разговору. Томасов пробормотал что-то о простой бойне. Мне нечего было сказать. Как я вам говорил, я очень скоро опустил саблю и она без дела висела на моей руке. Эта умирающая толпа

даже не попробовала защищаться. Было всего только несколько выстрелов. У нас было ранено двое. Двое!.. а мы атаковали главную колонну Наполеоновской Великой Армии.

Томасов устало прошептал:

— К чему это было?

У меня не было желания спорить и я только пробормотал:

— Ах, о чем тут говорить!

Но адъютант вмешался неприятным тоном:

— Что-ж, это хоть разогрело немножко наших людей. Я и сам согрелся. Это уж достаточно хорошая цель. Но наш Томасов такой сострадательный! А кроме того, он был влюблен в француженку и закадычный друг многих французов, вот ему и жаль их. Не печалься, голубчик, мы по дороге в Париж и ты ее скоро увидишь!

Это был один из его глупых, как нам казалось, разговоров. Все мы были уверены, что до Парижа придется добираться годами... годами! И вдруг! меньше, чем восемнадцать месяцев спустя, у меня обобрали большую сумму денег в адской игорной дыре, Палэ Ройяль.

Правда,—самая бессмысленная в мире вещь —открывается иногда глупцам. Я не думаю, что наш адъютант верил тогда своим словам. Он просто по привычке хотел подразнить Томасова. Просто по привычке. Мы, конечно, ничего не сказали в ответ и он опустил голову на руки и задремал, сидя на чурбане перед огнем.

Наша кавалерия была на крайнем правом фланге армии и я должен сознаться, что мы очень плохо ее охраняли. Мы потеряли в то время всякое чувство опасности. Но, все таки, мы делали взд, что охраняем. Подъехал солдат, ведя под узцы лошадь, Томасов устало сел на нее и отправился объезжать сторожевые посты. Совершенно бесполезные сторожевые посты.

Все было тихо в эту ночь, кроме треска костров. Бесновавшийся ветер поднялся высоко над землей и не чувствовалось ни малейшего

дуновения. Только полная луна вдруг выплыла на небо и повисла высоко и неподвижно над головами. Я помню, как на мгновение поднял к ней свое заросшее лицо. Потом я, вероятно, тоже задремал, согнувшись вдвое на чурбане и наклонив голову к яркому огню.

Вы знаете, какая непостоянная вещь такой сон. Одно мгновение вы падаете в пропасть, а в следующее вы возвращаетесь на землю. Потом снова проваливаетесь. Кажется, точно вы летите в бездонную черную пропасть. Потом опять возвращаетесь толчком к сознанию. Становишься игрушкой жестокого сна. Мучительное состояние.

Мой вестовой стоял предо мной, повторяя:

— Не желаете-ли поесть?.. Не желаете-ли поесть?..

Я постарался ухватиться за исчезающее сознание. Вестовой предлагал мне закопченный котелок с крупинками, плававшими в слегка посоленной воде.

В то время мы аккуратно получали только такие порции. Пища для пылчат, будь она проклята! Но русский солдат паразителен. Мой паренек подождал, пока я кончил пирушку, и ушел, унося пустой котелок.

Я больше не хотел спать. — Я находился теперь в состоянии обостренной сознательности. Я ощущал даже то, что было вне того, что сейчас окружало меня. Я рад сказать, что такие моменты бывают у людей, как редкое исключение. Я отчетливо ощущал землю во всех ее огромных пространствах, окутанных снегом. На всем этом пространстве были лишь деревья, вытянувшиеся кверху в своей похоронной красе. И среди этого всеобщего траура мне слышались вздохи людей, умирающих на лоне мертвой природы. Это были французы. Мы не ненавидели их. Они не ненавидели нас. Мы жили далеко друг от друга — и вдруг они ворвались с оружием в руках, ведя за собой другие народы, чтобы всем погибнуть на долгом, долгом пути

среди замерзших тел. Я отчетливо видел этот путь: трагическое множество невысоких черных валов, растянувшихся вдаль под лунным светом, в ясной и безжалостной ночи—ужасный покой!

Но какой еще покой мог быть для них? Чего другого они заслуживали?

Вас может удивить, что я так хорошо все это помню? Как может мимолетное чувство или неопределившаяся мысль жить так долго в человеке, существование которого так непоследовательно менялось? Ощущения этого вечера врезались в моей памяти так сильно, что я помню малейшие оттенки их. А причиной этого был случай, который я, вероятно, не забуду во всю жизнь, как вы сами увидите.

Все эти мысли мелькали в моей голове не более пяти минут, когда что-то заставило меня оглянуться назад. Не думаю, чтобы это был шум; снег заглушал все звуки. Но что-то было, точно сигнал, достигший моего сознания. Как бы там ни было, я повернул голову. Ко мне приближался случай, хоть я и не знал ничего про это и не был ничем предупрежден. Все, что я увидел, были две шедшие издали в лунном свете фигуры. Одна из них был Томасов. Темная масса за ним—были лошади, которых вводил вестовой. Томасов был знакомой фигурой. Он был в высоких сапогах и его длинный силуэт кончался остроконечной шапкой. Но рядом с ним приближалась другая фигура. Я не верил сначала своим глазам. Это было поразительно! На голове у фигуры был блестящий, украшенный перьями шлем, и она куталась в белый плащ. Плащ не был таким же белым как снег. Ничто никогда не может быть таким белым. Плащ был, вернее, белый, как туман, и вид его производил странно-жуткое впечатление. Казалось, точно Томасов захватил самого бога войны. Я сразу заметил, что он вел за руку это сверкающее видение. Потом я уви-

дел, что поддерживал его. Я смотрел на них во все глаза, а они ползли и ползли,—потому что они, действительно, ползли,—и, наконец, приползли в свет нашего костра и прошли мимо чурбана, на котором я сидел. Огонь заиграл на шлеме. Он был весь погнутый и замерзшее и израненное лицо под ним было обрамлено обрывками меха. Не бог войны, а француз. Широкий белый кирасирский плащ был порван, пули выжгли в нем дыры. Ноги француза были завернуты сверх статков сапог в старую овчину. Они казались чудовищными и он спотыкался, поддерживаемый Томасовым, который осторожно усадил его на чурбан рядом со мной.

Удивлению моему не было границ.

— Вы привели пленного?—спросил я Томасова, точно глаза мои обманывали меня.

Надо вам сказать, что мы брали пленных только в том случае, если они сдавались целыми корпусами. К чему было и брать их? Наши казаки или убивали оставших, или бросали их на дороге,—как случилось. В конце концов, право, получалось одно и то же.

Томасов обернулся ко мне и взглянул на меня очень смущенно.

— Он выскочил передо мной, точно из под земли, когда я отъезжал от караула, сказал он.—Он, вероятно, сделал это с намерением, потому что шел прямо на мою лошадь. Он схватился за мою ногу и тогда уж, конечно, никто из наших молодцов не посмел его тронуть.

— Ему повезло,—сказал я.

— Он этого не оценил,—сказал Томасов и вид у него стал еще более смущенный.—Он шел за мной, держась за мое стремя. Вот почему я так запоздал. Он сказал мне, что он штабной и говорил таким голосом, как, верно, говорят только в аду. Это был какой-то мучительный и злобный хрип. Он сказал, что хочет просить у меня одолжения. Последнего одолжения. Понимаю ли я его?—спросил он



Пленный сидел между нами... Какое-то военное пугало... Скелет на празднике победы...

каким-то злобным шопотом. Конечно, я ответил ему, что понимаю. Я сказал: „oui, je vous comprends ¹⁾“. Тогда,—сказал он,—сделайте это. Теперь же! Сразу, если в вашем сердце есть жалость.

Томасов замолчал и смотрел на меня странным взглядом поверх головы пленного.

— Что же он хотел сказать?—спросил я.

— Вот это я его и спросил,—ответил подавленным голосом Томасов,—и он сказал, что просит, чтобы я оказал ему милость и всадил ему в голову пулю. Как товарищ—солдат,—сказал он.—Как человек с сердцем, как... как сострадательный человек.

Пленный сидел между нами, точно мумия со страшным, израненным лицом, какое-то военное пугало, чудовище в лохмотьях и грязи, с ужасными глазами, полными жизни и не гаснущего огня в невыносимо измученном теле, скелет на празднике победы.

И вдруг эти сверкающие, не гаснущие глаза уставились на Тома-

¹⁾ Да, я вас понимаю.

сова. А он, бедняга, точно за-
гипнотизированный, ответил на
жуткий взгляд этого скелета. Плен-
ник прохрипел по-французски.

— Я вас узнаю. Вы ее русский
юнец. Вы были мне очень благо-
дарны. Теперь я прошу вас запла-
тить ваш долг. Я хочу, чтобы вы
уплатили его одним освобождаю-
щим выстрелом. Вы человек чести.
У меня нет даже сломанной шпаги.
Все мое существо возмущено моим
унижением. Вы меня знаете.

Томасов не отвечал.

— Разве у вас не душа воина?—
злым шопотом спросил фран-
цуз. Но в голосе его сквозила
умышленная насмешка.

— Я не знаю,—ответил бедный
Томасов.

С какой ненавистью взглянули
на него неугасающие глаза пу-
гала. Казалось, жизнь его поддер-
живалась только возмущенным и
бессильным отчаянием. Вдруг он
вскрикнул и упал ничком, изви-
ваясь в ужасных судорогах. Тако-
вы нередко бывали последствия
тепла от костра. Было похоже на
то, что француза подвергли ужас-
нейшим пыткам. Но он сначала
пробовал перебороть страдания.
Он только тихо стонал, пока мы
склонялись к нему, чтобы не
дать ему скатиться в костер. Он
лихорадочно бормотал от времени
до времени:

— Tuez-moi, tuez-moi... 1).

Но потом боль побеждала, он
кричал в безпамятстве, крики вы-
рывались из его сжатых губ.

По другую сторону костра про-
снулся адъютант и вскочил, ужасно
ругаясь, на проклятый шум, под-
нятый французом.

— Что это такое? Опять ваше
чортово сострадание, Томасов,—на-
бросился он на нас. — Почему вы
не выбросите его вон отсюда на
снег?

Мы не обращали внимания на
его крики. Он встал, с ужасными
ругательствами ушел к другому
костру. Французу стало легче. Мы

прислонили его к чурбану и молча
сидели по обе стороны от него,
пока горнисты не заиграли зорю.
Большой огонь, который поддержи-
вали всю ночь, побледнел на беле-
сом фоне снега, а морозный воздух
кругом звучал металлическими но-
тами кавалерийских труб. Глаза
француза, застывшие и точно стек-
ляные, что дало нам на мгновение
надежду, что он тихо умер, сидя
между нами,—вдруг медленно по-
вернулись направо и налево,
глядя по очереди на наши лица.
Мы с Томасовым уныло перегляну-
лись. Потом мы внутренне содро-
гнулись при звуках голоса де-Ка-
стея, прозвучавшего для нас с
неожиданной силой и с жутким
самообладанием.

— Bonjour, messieurs 1).

Подбородок его опустился на
грудь. Томасов обратился ко мне
по русски:

— Это он, тот самый человек...

Я кивнул головой и Томасов
продолжал сокрушенно:

— Да, он! Блестящий, полный
совершенств, предмет зависти для
мущин, любимый этой женщиной—
это чудовище, жалкое существо,
которое не может умереть. По-
смотрите в его глаза. Это ужасно!

Я не посмотрел, но понял, что
хотел сказать Томасов. Мы ничего
не могли сделать для него. Эта
зима мстительной судьбы держала
в своих железных лапах и бегле-
цов, и преследовавших их. Состра-
дание было пустым словом перед
этой неумолимой судьбой. Я по-
пробовал сказать что-то про обоз,
который должен находиться в де-
ревне, но я замолчал под взглядом
Томасова. Мы знали, каковы были
эти обозы: жалкие толпы несча-
стных, которым не на что было
надеяться. Казаки гнали их копья-
ми в морозный ад, с лицами повер-
нутыми в обратную сторону от их
домов.

Француз вдруг вскочил на ноги.
Мы помогли ему, почти не сообра-
жая, что мы делаем.

1) Убейте меня, убейте меня!.

1) С добрым утром, месье?

—Идемте,—сказал он с расставленной ногой,—это как раз подходящий момент.

Он долго стоял молча, потом так же отчетливо:

— Клянусь своей честью, всякая вера умерла во мне.

Голос его вдруг потерял самообладание. Подождав минуту, он добавил шепотом:

— И даже мое мужество... Клянусь честью.

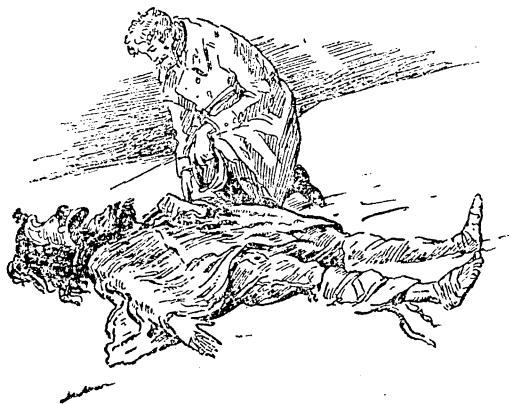
Последовала еще продолжительная пауза прежде, чем он хрипло прошептал с большим усилием:

— Не довольно ли этого, чтобы тронуть каменное сердце? Неужели я еще должен встать перед вами на колени?

Снова наступило молчание. Потом француз крикнул Томасову последнее слово злобы:

— Молокосос!

На лице бедняги не дрогнула ни одна черта. Я уж решил пойти и привести двух солдат, чтобы они отвели несчастного пленного в деревню. Не оставалось ничего другого. Но не прошел я и шести шагов по направлению к группе лошадей и солдат впереди нашего эскадрона... Но вы уж догадались. Конечно. И я тоже догадался, потому что даю вам слово, что звук выстрела из пистолета Томасова был едва слышен. Снег, ведь, поглощает звуки. Пистолет только слабо шелкнул. Не думаю, чтобы на этот звук обернулся хоть бы один из солдат, державших лошадей.



Да. Томасов это сделал. Судьба привела де-Кастеля к человеку, который понял его. Но жертвой должен был быть бедняга Томасов. Вы знаете, что такое людская справедливость и суд. Все это лицемерие свалилось на него тяжестью. Да, что говорить! Это животное—адъютант первый стал возмущенно распускать слухи про пленника, которого так хладнокровно пристрелили! Томасов, конечно, не получил за это отставки. Но после осады Данцига он попросил разрешения оставить службу в полку и похоронил себя в глуши своей провинции, где много лет с его именем соединяли какую-то таинственную темную историю.

Да. Он это сделал! Но в чем же тут было дело? Один воин сторичей отплатил другому долг, спасая его от судьбы худшей, чем смерть—от потери всякой веры и мужества. Вы, может быть, посмотрите на это с такой стороны. А я не знаю. Да и сам бедный Томасов не знал. Но я первый подошел к далекой группе на снегу. Француз неподвижно лежал на спине, Томасов стоял на коленях, ближе к лицу де-Кастеля, чем к его ногам. Он снял фуражку, волосы его блестели как золото, под легкими снежинками, которые начали падать. Он наклонился к умершему в нежной,

созерцательной позе. Его молодое, невинное лицо, с опущенными ресницами не выразило ни горя, ни суровости, ни ужаса, на нем было спокойствие глубокой, безконечной молчаливой задумчивости.

ПОДНЯТЫЙ БУМАЖНИК



Рассказ А. В. Бобрищова Пушкина.

Известный судебный и общественный деятель А. В. Бобрищев-Пушкин, в бурные годы эмигрировавший из России среди миллионов русской интеллигенции, пробыл несколько лет в различных странах и теперь приезжал и поелмился в СССР.

Редакция приобрела у А. В. Бобрищева Пушкина 3 рассказа, в художественном преломлении наблюдательного автора характеризующие быт русских интеллигентных эмигрантов.

Эта история наделала в свое время в Белграде много шума. Трудно было поверить, между тем улики были налицо. Всеми уважаемый, известный профессор консерватории Виктор Алексеевич Песчанников был уличен в присвоении бумажника.

Правда, профессор жил в бедности, но не в нужде: у него был хоть несколько унизительный, но недурной заработок пианиста в большом кинематографе; кроме того он зарабатывал на отдельных концертах и спектаклях. Еще страннее было то, что в самый день пропажи бумажника Песчанников получил „размен“ — ежемесячную ссуду в четыреста динаров, дававшуюся в 1919 — 1920 годах сербским правительством русским беженцам, а, следовательно, уж никак не мог нуждаться до того, чтобы впасть в преступление. Да и в бумажнике было всего триста четыре динара.

Тем не менее факты оставались фактами.

Колотов, офицер, занимавшийся в Белграде продажей газет, спохватился, что потерял бумажник. Четверть часа тому назад, у ворот „русской миссии“, когда он продал экземпляр „Русской газеты“, бумажник был еще у него; это он помнил очень хорошо, потому что вынимал оттуда сдачу. Вероятно

бумажник провалился как-нибудь сквозь прореху его поношенной куртки. Колотов кинулся назад, стал расспрашивать, не видел ли кто бумажника. Курьер, стоявший у дверей „Русского униона“, сказал ему, что видел вместе с барышней, служившей в миссии, как профессор Песчанников, хорошо ему известный, как и всей русской колонии, наклонился и поднял с дорожки сада большой клетчатый бумажник. Это успокоило Колотова: раз бумажник был поднят профессором, он пропасть не мог. Тем не менее весь этот день бумажник никуда возвращен не был.

Колотов поместил объявление в „Русской Газете“: „Господина, поднявшего бумажник с деньгами и документами у ворот сада Русской Миссии, просят вернуть его в контору „Русской Газеты“. К профессору сразу он не поехал, потому что Песчанников жил за несколько станций от Белграда. Но когда прошло три дня, и бумажника не было, несмотря на второе объявление, то пришлось поехать к профессору на последние гроши. Тот ответил, что никакого бумажника не видал. Пораженный таким ответом Колотов кинулся к курьеру, был близок даже к тому, чтобы заподозрить его, но задетый за живое курьер вновь повторил ему, что, кроме него, видела еще дочь

председателя Астраханской Судебной Палаты, Евдокия Алексеевна Каблова. Обратились к Кабловой. Долли Каблова, семнадцатилетняя болезненная барышня, была очень взволнована, когда узнала, что от ее слов зависит честь такого человека, как профессор Песчанников, тем более, что была немного с ним знакома, но когда курьер стал настаивать, она со слезами должна была сознаться, что профессор солгал: на ее глазах он поднял бумажник с дорожки и затем прошел в ворота мимо нее. Так получилось два угрожающих свидетельских показания. Колотов не знал, что делать. Дело было ясно; между тем личность и репутация профессора слишком не вязались с подобным поступком. Колотов все надеялся, что ему будут возвращены если не деньги, то хотя паспорт и другие важные документы. Но профессор уехал в музыкальное турне, затем вернулся и встречался с Колотовым, не упоминая о бумажнике. Тогда Колотов подал жалобу в беженский комитет.

Началось дело. Курьер изъявил полное согласие подтвердить свое показание хоть под присягой. Каблова дала Колотову письменное показание, так как грудная болезнь ее все усиливалась, и ей пришлось уехать лечиться на юг. Она категорически подтвердила, что Песчанников поднял бумажник на глазах ее и курьера.

Профессор, со своей стороны, в своем объяснении Комитету отрицал все, ссылаясь на свое пятидесятилетнее незапятнанное честное имя, объясняя свидетельские показания какою-то непостижимою для него ошибкою. Но это было плохим объяснением, и общественное мнение, взволнованное этою историею, определенно настроилось против профессора.

Так обстояло дело, когда однажды, около двенадцати часов ночи, когда член петроградского окружного суда Георгий Иеронимович Захаров уже собирался ложиться



Профессор Песчанников наклонился и поднял бумажник...

спать, к нему вошел профессор Песчанников.

Захаров жил в том же поселке под Белградом, где и профессор. Они сблизились еще на пароходе, иногда вместе музицировали на хозяйском пианино, но никогда профессор не упоминал об истории с бумажником, а хозяин из деликатности не расспрашивал. Однако, на этот раз он сразу понял, что поздний гость пришел говорить именно об этом. Профессор был очень бледен, на его лбу были даже капельки пота, и его черная с серебряными нитями грива была в беспорядке, как и небрежно повязанный прямо на ночную рубашку галстук.

— Я долго думал, Георгий Иеронимович, и, наконец, решил обратиться к вам, как к юристу. Вы знаете, какое предъявлено ко мне обвинение?

— Знаю, Виктор Алексеевич,— и должен вам сказать, что члены комитета против вас. Дело ваше плохо.

— Оно безнадежно. Меня несомненно осудят. Тем более, что я раздражаю всех моим непонятым отрицанием.

Захаров с глубоким сожалением смотрел на своего гостя.

— Не волнуйтесь так. Вот, выпейте холодного чаю. Если против вас лишь одна видимость, то суд в этом разберется, поймет ошибку свидетелей.

— Ошибки нет, свидетели говорят правду.

Сказав это, профессор опустился на стул и уронил голову на руки, рядом с неубранными чашками. Тут как раз погасло электричество, так как настала полночь. Захаров не вдруг нашел спички, чтобы зажечь ночник. При слабом свете лицо профессора казалось вдвое бледнее. Захаров тихо спросил.

— Дорогой мой, что же вас довело?

На глазах профессора выступили слезы.

— И вы! И вы! — почти истерически закричал он: — Вы, человек, в уважении которого я был уверен... с которым столько говорил об искусстве, о родине... И вы тоже могли подумать, что я, профессор Песчанников, на пятьдесят первом году жизни стащу бумажник с тремястами динаров... и у кого... у бедняка, последние гроши. Поймите же, что за гнусность!

— Но как же так, когда вы сами...

— Да разве вы не чувствуете, что в этом деле есть какая-то загадка, что то недоговоренное? Уж если я такой мошенник, то не дурак же я, в самом деле, не сумасшедший, чтобы когда меня знает вся колония, среди бела дня, при всем народе поднять бумажник и присвоить его! Как ведь люди любят верить так называемой очевидности даже тогда, когда для нее надо перешагнуть через самые очевидные нелепости! Да, ведь, это же для меня пытка! Посмотрите, на кого я стал похож. Ведь я ни о чем думать не могу, кроме этой проклятой истории.

Профессор отпил еще холодного чаю и упавшим голосом произнес:

— А самое ужасное еще впереди—этот суд.

— В чем же разгадка?—спросил в высшей степени заинтересованный хозяин. Черные, молодые на старом бледном лице глаза пытливо взглянули на него.

— Георгий Иеронимович, могу я быть уверен в вашем молчании?

— Конечно, Виктор Алексеевич.

— Ну, запомните ваше слово. Даже если вы увидите, что я погибаю, вы будете молчать. Да вы не подумайте, что тут какой-нибудь подвиг самоотвержения с моей стороны. Я на подвиг так же мало способен, как на гадость. А просто попался самым нелепым образом.

Вот, что случилось.

С Долли Кабловой я познакомился у моей сестры Марьи Алексеевны; сестра тут, в Белграде, с мужем. Никакого мы с мадемуазель Кабловой впечатления друг на друга не произвели. Мои года уже не те, да и ее лицо вы знаете—только глаза хорошие, большие, серые, грустные... да и вообще в нашей горькой беженской жизни не до флирта. Просто понравилось ей, как я на концерте в „Касике“ играл сонату Грига, разговорились,— и потом раза два-три я ее провожал до службы, а раз зашли в кафану и выпили от жары по чашке пива—крюгель то не по беженскому карману. Беседовали дружелюбно, по душе. Она все жаловалась, что трудно приходится, вспоминала о другой, привольной жизни, о парниках в имении Тульской губернии, где выращивались ананасы, и о старой беседке с дивным видом на Оку. Симпатичное такое впечатление производила, хоть немножко жалкое. Невесела вообще жизнь девушки без красоты, а еще на чужбине, да в бедности!..

3 го августа, в роковой для меня день, мы встретились вот при каких обстоятельствах: зашел я в миссию узнать, нет ли мне там пишем, поговорил в саду со знакомыми и пошел к воротам. Пить хотелось, погода стояла жаркая, собирался зайти в кафану и затем поспеть в редакцию „Русской Га-

зеты "сдать объявление о моем турне. А потом надо было непременно успеть на поезд, чтобы получить в тот же день в нашем комитете сербскую ссуду. Иду я и вижу, что из ворот вышла и идет мне навстречу Долли Каблова—должно быть на свою службу. Только я хотел поклониться, вдруг заметил почти под ногами что-то клетчатое.

Наклонился. Старый, рванный бумажник вроде мешечка. Я поднес его к глазам и сунул в карман. Не остановился, пошел к кафану, потому что уж очень в горле пересохло—страшно пить хотелось. Думаю, посмотрю в кафане чей он и отдам владельцу или в редакцию.

Посмотрел в кафане—точно, бумажник; в нем триста четыре динара и много документов, в том числе паспорт на имя поручика Колотова. На паспорте фотографий, по которой я узнал неизвестного мне по фамилии, но так хорошо знакомого продавца газет. Вот и хорошо, думаю, придет в редакцию за газетами и получит свой бумажник, а мне хлопот меньше. Выхожу из кафаны—и первое лицо на улице, у дверей, опять Долли.

— А, здравствуйте, профессор. Что это вы какой гордый стали,— не узнаете нынче.

— Простите, я вас отлично узнал в саду, но был отвлечен находкой. Вы видели бумажник?

— Да, видела. Что же там? Деньги?

— Немного. Триста динаров. Это Колотова, знаете, разносчика газет. Что, он не искал его?

— Искал. Как же, при мне. Очень волновался даже.

— Так я вернусь, отдам ему.

— Теперь его уже там нет. Обеденное время.

— Что вы говорите! Неужели я так засиделся в кафане, целых четверть часа, разглядывая эти бумаги. Вот как плохо, когда часов нет. Этак я и в редакцию, пожалуй, опоздаю.

— А я думала—вы меня проводите.

— В другой раз, Евдокия Алексеевна, извините, пожалуйста. То-

роплюсь очень. На поезд обязательно надо.

Она пошла со мной—по пути ей было домой. У ворот дома, где помещалась редакция, я простился с Долли и вошел туда. В редакции действительно никого не было, даже дверь была заперта. Такая досада: и объявление не успеет, и что же теперь делать с бумажником?! В миссии занятия возобновятся только в три часа, и я опоздаю повсюду. Я поспешно вышел на улицу и почти бегом стал догонять удалявшуюся фигурку в светлой кофточке и старой соломенной шляпке.

— Евдокия Алексеевна!

Она обернулась.

— Что вам?

— Голубушка, мне на поезд надо, чтобы ссуду успеть получить, да и обедать в Белграде не хочется—дорого. Будьте добры, если увидите Колотова, передайте ему этот бумажник, а нег—отдайте в миссию.

— Да, Георгий Геронимович, она меня ни словом не уговаривала. Напротив, я сам ее догнал. Она даже испуганно взглянула на меня и как будто хотела что-то возразить, но тут как раз подкатил трамвай, идущий на вокзал. Я поспешно сунул ей в руку бумажник и вскочил на площадку.

Получил я ссуду, пообедал в русской столовой, довольный, что съэкономил динара три сравнительно с белградской дороговизной, заплатил хозяевам двести динаров за квартиру, проиграл шесть в лото и выпил поллитра черна вина за ужином.

На другой день было воскресенье, и я не ездил в Белград—был занят целый день в моем кинематографе. Вдруг вечером развертываю в столовой „Русскую Газету“ и вижу там объявление: „Господина, поднявшего бумажник с деньгами и документами у ворот сада русской миссии просят вернуть его в контору „Русской Газеты“. Сначала меня это ошеломило, а потом я даже улыбнулся: какие, думаю, пустяки. Очевидно, Дол-



Мне становилось страшно. Я чувствовал себя преступником...

ли не нашла во-время Колотова, а он, не зная, что бумажник найден, сдал объявление в газету. На душе у меня, однако, стало беспокойно. На другой день я поехал с утренним поездом в Белград. Долли была на службе. Она занималась за загородкою. Кругом было много публики.

Когда она меня увидела, ее худенькое лицо залил такой румянец, что у меня сердце упало. При посторонних я уж ей ничего не стал говорить, а стал ждать окончания занятий. Когда настал обеденный час, она что-то очень долго убирала на своем столе, точно не хотела выходить, наконец, видя, что я остался совсем один и жду, нерешительно, медленно пошла со своего места и сказала мне почему-то по-французски.

— Au nom du ciel, ради неба, не сейчас. Сегодня вечером я вам все объясню.

— Но...

— Пожалуйста, вечером! В семь часов, в кафане, где мы были.

Целый день я бродил по Белграду, как потерянный, сознавая, что уже беда стряслась, что с бумажником что-то случилось, и выходит очень тяжелая история. И в то же

время мне было до боли жаль бедную девушку. Надо знать беженскую нужду, знать эту гниль, подползающую к сердцу на чужбине, где люди доходят до того, что и не снится им на родине. Мало чистых, благородных и ших жен, сестер, дочерей—погибло совсем! Не было у меня злобы,— и когда на стемневшей улице мы сели у столика кафаны подалее от света, я сказал мягко, как только мог.

— Евдокия Алексеевна, вы потеряли деньги?

Румянец опять прилил к ее щекам. На меня смотрели правдивые, гордые серые глаза.

— Не потеряла...—взяла. Зачем эта деликатность?!

— Вы взяли!

— Взяла!.. взяла! Вы сами виноваты! Правда, когда я увидела, как вы подняли, меня зависть кольнула. Да кто же из бедняков не надеется найти бумажник? Ведь сотни тысяч горемык так идут и смотрят себе под ноги... И я пошла за вами, дождала вас у той кафаны. Думала, скажу, что видела, попрошу дать мне что-нибудь. Ведь если бы вы знали только, что у нас дома... Но потом, когда вы сказали, что отдадите, вздохнула и прочь пошла. Зачем вы меня догнали? Кто вас просил, как искусителя, мне сунуть это в руку?! Ведь я брать не хотел. Грешно вам! Вы сами бедный, вы должны были понять!

На глазах ее были слезы. Она почти всхлипывала, как обиженная девочка, но тут же зажимала себе салфеткою рот, боясь обратить на себя внимание окружающих. Я сказал:

— Евдокия Алексеевна, как вы не подумали, что тот тоже бедняк!

Ее лицо приняло жесткое выражение.

— Отчего же богатые не думают о чужой нужде, а мы должны думать? Ведь у меня башмаки разваливались, а под ними и теперь вместо чулок сплошная дыра.

Тут я заметил, что на ней новые дешевые башмаки. Она продолжала звенящим голосом.

— Ведь в нас долги, стыдные, мелкие. Есть такие, про которые пала и не знает—ведь я хозяйство веду. Он старик, ему нужен покой, он отслужил свое. А тут, вместо пенсии—вдруг под пули, в пожар. Ведь это ад был, когда мы спасались! Я с тех пор и больна. Вот, врачи посмеляют на море, а на что я поеду? Мне папу жаль, псымите: не себя, а папу, когда он смотрит, как я хую, и думает, что я скоро умру. А лучше бы... право лучше. Вот теперь эта история!..

— Да, вернемтесь к ней, — произнес я твердо, как только мог. — Голубушка, ну, я понимаю, момент слабости с вашей стороны. Но нехороший поступок все же остается нехорошим. Вы им двоих поставили в очень тяжелое положение: этого несчастного, у которого погибли последние гроши, и меня.

— Вас никто не видал!

— Извините, вы читали это объявление.

Я подал ей газету, она отстранила ее.

— Читала, ну так что-ж? Тут сказано „господина“. Если-бы он знал, что это вы, он бы не публиковал, а просто бы обратился к вам.

— Это, положим, правда, но все-же, значит, меня видел кто-то, не знающий лишь моей фамилии, и завтра на улице может меня опознать. Да и не в том дело, а в том, что это нечестно. Надо скорее все поправить. У вас сколько осталось денег?

— Сто семьд... сто сорок динаров. Чго-ж, вот берите все!

Я очень хорошо видел, как она, вынимая, сунула на дно сумочки скомканные бумажки, но радостно ответил:

— И прекрасно. А я тогда же, в субботу, получил ссуду, и сто шестьдесят четыре динара у меня найдется. Я отдам все завтра Колотову, извинюсь, что поздно прочел объявление и не знал, куда вернуть бумажник. Дайте его сюда.

— У меня его нет.

— Как нет?

— Я испугалась и бросила его в пустыре... знаете, где спуск к Дунаю.

— И документы?

Она кивнула головой. Теперь я почувствовал, что краснею. Мною овладевал гнев.

— Да подумали-ли вы, что вы сделали?! Ведь для беженца — бумаги — все! Дороже денег! Ведь вы его зарезали.

— Я не знала...

— Да, не знали, как женщины не знают бумаг. Да неужели вы, дочь юриста, не могли понять значения такого преступления! Там ведь даже его паспорт.

— Тише, умоляю вас. Может быть, тут есть русские.

Я оглянулся и понизил голос. Мне становилось страшно. Я чувствовал себя преступником вместе с нею, невольным ее соучастником.

— Мне вообще больше нечего говорить, Евдокия Алексеевна. Если так, то дело — непоправимо.

— Может быть можно отыскать...

— Нет с, уж это вы сами ищите. Найдете, — тем лучше. Деньги я дополню.

— Правда, где тут... завтра четвертый день. Но я все же попробую; поищу. Или... может быть, вы пошлете ему деньги по почте? Понимаете, без вашего имени.

— Чгобы меня еще и на почте опознали? Благодарю покорно! Я вообще не понимаю, отчего из-за вас я должен попасть в положение прячущегося мошенника? Зачем мне укрывать то, что вы натворили. Я вот пойду и скажу прямо.

— Тише, ради всего святого тише! Вы нас погубите!

— Отчего нас? Пойду и скажу прямо. Мадемуазель Каблова не передала отданного ей бумажника. Мне жаль вас, но я не средневековый рыцарь. А честь моя мне дороже, чем ему. Я пятьдесят лет был честным человеком.

— Да вы о папе подумайте! Он ни в чем неповинный, старый! Я у него одна. Ведь это убьет его. Как я ему буду в глаза смотреть?

Но я уже совсем сел на конька морали.

— А как я буду людям в глаза смотреть? Вы боитесь позора теперь. Что же вы не боялись во время?

— Да я думала, что никто не узнает, что это останется между нами. Что же это? В самом деле позор! Зачем вы меня так мучите.

Ее глаза опять наполнились слезами. Может быть, впрочем, она хотела спастись, вызвав жалость.— Это так по женски, и так было легко ей, измученной, маленькой, беспомощной. Я развел руками с сокрушением.

— Если б вы не забросили документов, можно было бы все скрыть, но теперь нельзя.

Не странно ли, ведь я был потерпевший, обманутый, а чувствовал, что в своей неумолимости играю какую-то некрасивую роль, что нельзя на несчастной больной девушке спасать свою собственную шкуру. Однако, ведь больше мне не оставалось ничего, и это было моим законнейшим правом.

И вдруг снова ее лицо изменилось, потемнело. Она не плакала больше. И сказала сумрачно, смотря мне прямо в глаза.

— Попробуйте только! Я не себя спасаю—отца. Вы деревянный какой-то, безжалостный. Ну, так увидите, что и у меня есть характер, от всего отпрусь. Какие у вас доказательства? Кто вам поверит? Ведь бумажник то поднял вы, а не я. Что же я, в самом деле, увижусь перед вами?

Невозможно быстрее перекинуть человека в другое положение. Я почувствовал, что вся почва уходит у меня из-под ног, что точно внезапным уничтожающим шахматным ходом разрушена моя атакующая позиция, и сразу партия стала безнадежной. Я видел, что у меня задрожали руки, и видел, что она видит это.

— У вас хватит совести...

— Да что же мне больше остается? Не могу я, не могу этого вынести. Я не дурная, не думайте, я не украла. Вы сами мне дали в

руку. А теперь что-же? Опять меня вынуждаете? Ведь вам только молчать надо, и нам обоим будет хорошо. Ну, мало-ли кто теряет деньги и не находит. Не знают, что это вы—так видно и по объявлению. Ну, если боитесь, посидите дома несколько дней, не показывайтесь в Белград. А потом ведь вы в поездку едете, так и забудется все, и никто не узнает, если вы сами не будете делать глупостей. Ну, видите, я ведь спокойна, рассуждаю, как следует. Только имейте же каплю жалости ко мне, к отцу, к себе.

Она долго повторяла те же доводы и так жалко старалась снова сделать твердым дрожащий голос, и так подчеркивалось при этом ее личико. Судите меня, как хотите—что взяло верх? Жалость к ней, или к себе самому—сознание, что она совершенно права, что не только никто не поверит передаче бумажника, мелкому спелению житейских фактов, как моя жажда, опоздание в редакцию, подошедший трамвай, но что моя собеседница может с успехом отрицать даже какие-бы то ни было со мною отношения, кроме шаночного знакомства. Видел ли кто даже как я ее два раза провожал домой? А если и видел, то что это доказывает? Ведь я даже в доме у нее никогда не был, незнаком с ее отцом. И окажусь я вдобавок еще клеветником на невинную, правдивую, больную девушку. Гордиев узел запутался окончательно. Я растерянно смотрел на все еще лежавшие на столе динары—и, наконец, пододвинул их к их владельцу.

— Десятый час. Вам давно пора домой, да и у меня уйдет последний поезд. Молни!

Последнее слово было обращено к кельнеру. Я расплатился за два розбратена и малиновый сок с содовой.

— До свидания, Евдокия Алексеевна.

Серые глаза расширились.

— Что же вы мне скажете?

— Ничего. В самом деле поищите бумажник. Может быть он еще и лежит там. А то я не знаю, что делать. У меня голова кругом идет. Во всяком случае я ничего вам не обещаю.

Она ничего не ответила и, не подав мне руки, быстро исчезла во мраке.

А мне долго пришлось ждать на вокзале отходящего поезда, и я тщетно старался одурманиться коньяком, решительно выйдя из бюджета.

Бумажника на пустыре не оказалось, да и, конечно, оказаться не могло—его просто выбросили, как старую клетчатую тряпку, убирая мусор. Не знаю, впрочем, искала ли его Долли, думаю, что да—и очень усердно и мучительно. Но сам я ее об этом не спрашивал, потому что, действительно, боялся показаться в Белграде и лишь думал о том, как бы скорее уехать. И точно: самое дурное было еще впереди—и не запоздало свалиться на мою голову.

Когда я утром только что встал и среди моей убогой комнаты еще красовался умывальный таз на табурете и ведро, хозяин серб сообщил, что меня спрашивают, и вошел Колотов.

Сердце мое больно забилось и замерло. В груди и в голове стало совсем пусто, я, как автомат какой-то, сказал Колотов был сконфужен и казал тихо и очень почтительно.

— С добрым утром, профессор. Вы меня узнаете? Поручик Колотов. Вы у меня часто покупаете газеты. Я к вам по делу. Видите ли, я потерял одну вещь, и мне сказали, что вы ее нашли...

Автомат, бывший вместо меня, подняя голову повыше и придал своему вопросу возможно похожую интонацию недоумения.

— Какую вещь?

— Бумажник...

— Нет!

На мужественном, загорелом, добром лице Колотова появилась полная растерянность. А я доба-



Если-бы я нашел ваш бумажник, то он был-бы вам немедленно возвращен...

вил все также, как актер, играющий почтенного, всеми уважаемого профессора:

— Если бы я нашел ваш бумажник, то он, разумеется, был бы вам немедленно возвращен.

— Значит, они спугали—сказал Колотов—курьер и барышня. Говорят, что видели вас.

— Что же, у вас там были важные бумаги?

— Деньги были,—сконфуженно, тихо ответил он.

Я пожал плечами.

— Ну, вот видите.

Профессор Песчанников должен был ответить именно так, не обижаясь, просто, не допуская слишком нелепого предположения. Ну, вот видите: деньги и я, Песчанников. Во мне было спокойствие большой опасности. Все время я смотрел ему прямо в глаза и, кажется, даже слегка улыбался...

Он вынул часы, облезлые, черные, на коженой старой цепочке.

— Я поспею еще на следующий поезд?

— Да, он отходит через двадцать минут.

— До свиданья.

— До свиданья.

Я равнодушно не расспрашивал его об этом совершенно неинтересном для меня деле. В эту минуту он, вероятно, вполне верил мне. Роль была сыграна безукоризненно, и, оставшись один, я даже почувствовал к себе враждебное удивление — какой ловкий подлец таился в безупречном человеке. Как мало знаешь себя! Будь я подготовлен к этому визиту, я бы, вероятно, поступил иначе, но я был застигнут совсем врасплох, и раньше, чем успел что-нибудь сообразить, мой рот уже сказал это непоправимое „нет“. Я сунул голову в песок, как страус. Вижу, вы качаете головой. Я сделал большую глупость. Я и сам так думал, но потом сколько ни размышлял над своим безвыходным положением, решительно не знаю, что мог сделать умнее. Рассказать всю правду? Но, как говорила Долли, где доказательства? Принять на себя не совершенную мною гадость? Отдать Колотову часть его денег, обещая выслать остальные. Но как быть с документами? Да и не мог я, в конце концов, ничего не сделавший, допустить, чтобы глаза этого честного офицера зажглись презрением ко мне, да и молчать он бы не был обязан, и вся колоuvia смотрела бы на меня, как на вора.

Видите, я не рисуюсь. Мне легко было бы изобразить себя рыцарем бедной девушки, но ничего, кроме жгучей досады на нее, я тогда не чувствовал и посылал ее мысленно в очень недобрые места. Итак я увязал все глубже в трясины, в которую нечаянно ступил ногой. Уже теперь есть не господин, поднявший бумажник, а я, Песчанников, на которого два свидетеля — курьер и какая-то барышня. И я отрекся. Пусть он мне на минуту поверил, они будут с негодованием повторять, что видели меня, близко, среди бела дня, что

они меня знают и не могли ошибиться. Вор... Вор... И даже перед собственной совестью хоть не вор, но укрыватель воровства. И укрыватель то не из благородных мотивов, а по подлой трусости. Я схватил фуражку и поехал в Белград.

Не стану передавать вам первого бестолкового разговора, который был у меня с Долли в пустом саду миссии после окончания послеобеденных занятий. Она твердо стояла на своем, что курьеру и барышне не могут поверить, что я выше подозрений и отлично сделал, что так ответил Колотову. С наивным эгоизмом она добавила даже, что не в одном Белграде люди живут, что я могу куда-нибудь переехать. Словом, она уж снисходительно сочувствовала мне — входила в мое положение. Но под воспаленными глазами ее легли свинцовые полосы; она кашляла и точно зябла, несмотря на теплый день. С сильным можно бороться, но что может быть ужаснее, когда всю жизнь разбивает беспомощное жалкое существо, этакая подстреленная птичка. Я злился на свою жалость и упрекал себя за свою злость. Наговорил лишнего, так что глаза ее опять наполнились слезами, мы почти поспорились — и она сказала, что говорит со мной в последний раз. Махнув на все рукою, я выехал в Ниш, как только, смог, и прибыл туда за целую неделю до первого моего концерта.

Но всю эту неделю я провел, как на горячих углях. После трех вечеров я под каким-то предлогом обещал моим компаньонам догнать их в Новом Саду и поехал в Белград. Там все оказалось благополучно и Долли, встретив меня в миссии, сказала мне мимоходом:

— Видите, никакой жалобы не подано.

Колотов продавал газеты, и я даже, сперва не узнав его, купил у него одну. Отношение всех ко мне было прежнее, хорошее, полное уважения. Я уехал в Новый Сад успокоенный. Впечатления поездки, цветы, овалы, банкет сербских

товарищей-артистов заставили меня за полтора месяца почти забыть об этой истории, и только ночью, просыпаясь, я иногда вспоминал о ней с колющей тоской и чувствовал, что краснею в темноте. Во всяком случае я надеялся, что уже все сошло благополучно.

Не тут то было! Когда поездка кончилась, меня, по возвращении, ошеломили два письма на моем столе, пришедшие в мое отсутствие. Одно от Комитета с предложением представить объяснение по поводу жалобы поручика Колотова, а другое от сестры, очень жалевшей, что не застала, так как дело — важное. Путь мой был избран, и назад было нельзя, хоть я видел, что впереди пропасть. Я написал объяснение в Комитет, по прежнему отрицая находку бумажника, и то же стал говорить сестре, ходя с нею по улицам Белграда; при ее муже дома неудобно было разговаривать. Сестра — старше меня. Мы очень дружны, и мне было больно, что она в первый раз в жизни мне не верит — и жалеет меня, и стыдится.

— Не притворяйся же хоть предомной, Вика. Я заложу кое-что, поеду к Колотову, сумма небольшая, — отдам и уговорю взять жалобу обратно.

— Пожалуйста не делай этого, ты меня совсем скомпрометируешь. Ведь это равносильно сознанию.

— Да тебе и надо сознаться. Так лучше, честнее!

— Маша, клянусь тебе нашей покойной матерью, всем святым для меня, что я этого бумажника не присваивал. Как можешь ты считать меня способным на это?

— Да как же, когда тебя видели двое. Ну, если бы еще один курьер, я бы тебе поверила, но Долли Каблова...

— Что??

Я давно думал, что уже вся чаша выпита, что ничем больше я поразиться не могу. Но видно у судьбы был неисчерпаемый запас насмешек. А сестра продолжала, ничего не заметив, хотя я даже прислонился к фонарю.

— Такая правдивая, воспитанная девушка, из такой хорошей семьи. Я за нее ручаюсь, как за себя. Да и зачем ей лгать? И она то уж ошибиться не могла; ведь ты с нею у меня же познакомился, и на концерте твоим вы беседовали.

— Что же она говорит? — спросил я через силу.

— Она сперва не хотела, но не могла скрыть правды, особенно потому, что курьер видел, как она с тобой встретилась у самого бумажника. Она дала письменное показание, что шла навстречу тебе, что ты при ней поднял бумажник и, не поклонившись ей, прошел мимо нее к воротам.

— И это все? все?

— Что же тебе еще надо?

— Действительно, ничего!

— Ну, вот видишь. Оба, Долли и курьер, говорят, что не остановили тебя, уверенные, что ты отнесешь бумажник в участок или в консульство, — словом, представишь его куда-нибудь. Кто же мог подумать, что ты его возьмешь себе! Скажи, Вика, может быть у тебя нужда была? Как же ты не обратился ко мне? Как довел себя до этого!

— Никакой нужды! Я ссуду получил в этот день. Я собирался в доходную поездку. Маша, подумай, каково мне — ведь ты мне родная, ведь мы всю жизнь душа в душу прожили! И вот в чем ты меня обвиняешь!

— Нет уж, Долли Кабловой я не могу не поверить. За других своих знакомых я не поручусь, но за нее...

— Да, да...

— Что это ты так сказал. Не вздумай еще утверждать, что она солгала. Тебя все со свету сживут — ее отец — первый, это святая девушка. Она и на тебя говорить не хотела — ее долго уговаривали, раньше чем она написала. Говорит, потом двое суток не могла ни спать, ни есть. Совсем больная сделалась.

— В это я верю. Я хочу объясниться с нею.

— О чем еще? Нет ее — она на юге с отцом, и он пишет, что ей

очень плохо, бедной. Доктора боятся скоротечной чахотки. Все эти волнения так на нее подействовали.

— Да, недостает, чтобы я стал убийцею. Маша, вот тебе мое последнее слово: бумажника я не присваивал. Каблова не лжет, но ошибается, и курьер тоже. Никого обвинять я не собираюсь, а буду нести свой крест. Часто бывает, что люди осуждают невинного под давлением будто бы неотразимых улик. И я об этом читал, но совсем другое—испытывать это на себе. И чего стоит долгая честная жизнь, общественное уважение, когда все летит прахом при малейшем сцеплении обстоятельств! Да если бы мне сказали, что ты украла что-нибудь, я бы никаким свидетелям не поверил, потому что это ты—моя Маша... Видно просто в нашем обществе допускается молчаливо, что всякий честен лишь до случая, что таков уж весь наш строй. Ну, пусть! Пожалуйста, не будем больше говорить об этом. Мне слишком больно...—от тебя.

Она вздохнула и ничего не ответила. Так эта лож коснулась даже самого дорогого для меня человека. О посторонних я уж не говорю. Почем я знаю, кто из вежливо кланяющихся мне не рассказывает за моею спиною: — „А знаете, это Песчанников, тот самый, с бумажником“. Я ни с кем больше не могу говорить с открытою душою. Я думал написать туда, на юг. Но что? зачем? Я справлялся, у меня есть там знакомые. Она, действительно, умирает. Закутанная в теплый оренбургский

платок, несмотря на горячее солнце, сидит она среди зелени на террасе и смотрит на голубое море. И заботливо ухаживает за нею убитый горем отец. Может быть она скажет в последние дни? Нет, она его любит, она не омрачит его чистого горя другим, позорным. Не омрачит его памяти о дочке. Нет мне надежды! Хорошо еще, что у меня нет, кроме сестры, никого, что ни на кого не падет пятно на моем имени. никому не будет тяжело... Я—бобыль. Одиночество имеет горькие выгоды.

Профессор замолчал. В окно уже брезжил день. Захаров, по судейской привычке, не перебил его ни разу и теперь тоже остался неподвижен и безмолвен. На столе, рядом со стаканом остывшего чаю, догорал ночник.

— Я вам все сказал. Что мне делать?

Захаров точно прочел приговор.

— Я не вижу выхода из вашего положения. И вы сами во многом виноваты.

Песчанников криво усмехнулся и стал надевать пальто.

Суду, однако, не суждено было состояться. Накануне его председателю беженского комитета пришло письмо от митрополита Варсонофия. Он писал, что, напутствуя некую умирающую, узнал о невинности профессора Песчанникова, что добавить что-либо ему не позволяет тайна исповеди, но что он свидетельствует о том по долгу священства.

Из уважения к владыке дело было прекращено.



СТРАШНАЯ НОЧЬ

Рассказ из жизни русских эмигрантов.

А. В. Бобрищева-Пушкина.

Генерал Забалуцкий стоял перед супругами Иешичами, подобострастно показывавшими ему его будущее жилище, и старался с ними объясниться при помощи передельванья русских слов на сербский лад. Генералу казалось, что так выходит понятнее.

— Какая же это соба? Не лепа соба. Слишком мала.

Жена Иешича замотала головой и показала генералу на пальцах, что он один и что одному не надо большой комнаты. Он показал, однако, на пальцах сто динаров. Это вызвало новое энергичное метанье голов уже обоих супругов; они показывали на пальцах двести. Генерал рассердился.

— К чорту! Дерете, как с мертвого! Дорого! Скупо! Скупо! Не лепа соба; свинска соба!

Такой протест, сопровождаемый движением к двери, возымел свое действие. На руке Иешича из двух вытянутых пальцев один сложился пополам.

— Ну, это куда еще ни шло. И так—полтора... не понимаете? Сто пятьдесят! Да, да, хорошо. Добра. Так я сейчас привезу вещи. Только вы поставьте мне здесь чашку для умыванья на табуретку и кровать, конечно, кровать... разумеете? кровать!

Супруги закивали головами, и генерал, передав им полтора динаров, успокоенный отправился в общежитие перевозить свой скудный багаж.

Оставшись одни, супруги задумались и начали совещаться.

— Кровать... конечно, русскому нужна кровать. Но откуда ее взять,

когда ее нет? Сами спим на полу— все роздали жильцам.

— Потому что ты слишком жадная. Зачем было пускать еще третьего квартиранта? Жили хорошо... была и гостиная, и детская, а теперь жмемся в каком то углу, у плиты — недовольно говорил Иешич.

— А полтора динаров? Да за эту комнату прежде никто бы и тридцати не дал. Ведь это все равно, что урожай. Такого русского нашествия мы больше всю жизнь не дождемся!

— Пусть, но как же теперь быть с кроватью? Купить, что ли?

— Ты с ума сошел!

— А ты скоро есть перестанешь от скупости. Как же быть? Не может же генерал спать на полу?

— Зачем на полу? Тащи сюда наш рояль!

— Что ты? Он никогда не согласится!

— Не надо ничего ему говорить. Мы отвинтим ножки и укроем тюфяком и одеялом. Будет очень мягко и хорошо.

— А Лизины уроки музыки?

— Потом, потом, когда русские разъедутся! А пока надо добывать деньги. Ну, что ты на меня уставился? Торопись, пока он не вернулся.

Когда генерал приехал с вещами, уже смеркалось. Комната тускло была освещена огарком. Он недовольно поморщился.

— Как здесь темно, уныло! А это что за кровать? Даже без ножек; совсем гроб какой то!

Иешич старался скрасить недостатки комнаты обилием улыбок.

Генерал смягчился, подумав, что хотя хозяева-то любезные, не то, что в других местах. На кровати было две больших подушки; стеганное большое одеяло свешивалось до полу. Было устроено и все для умыванья и очищен платяной шкаф. Генерал посмотрел на часы: уж десятый час. Он благосклонным жестом протиснулся с хозяевами.

— Теперь спать. Фу, однако, ложе-то жестковатое. Эх, то ли еще в походах приходилось переносить!

Он проворно разделся и улегся под одеяло. В соседней комнате пищали дети, что то говорили жильцы. Под этот гомон генерал стал засыпать. Постепенно водворилась тишина.

Генерал повернулся на другой бок. И среди тишины до его уха достиг мелодичный жалобный стон. Он сделал движение. Стон повторился.

— Что такое?

Генерал зажег свечку. Струны рояля продолжали нежно, негромко гудеть от некоторых его движений. Не подозревая о существовании рояля, он не мог себе объяснить, откуда исходит этот жалобный, странный, такой близкий звук?

— Это здесь, в моей комнате. Кошка? что ли? Нет, совсем не похоже на кошку. Кис-кис...

Он встал и со свечкою осмотрел все углы, заглянул под стол. Большая черная тень его танцевала на стене. Так как он встал, звук прекратился. Успокоенный, он лег опять и задул свечу.

— Просто мне показалось...

И опять явственно, протяжно пронесся тот же необъяснимый звук.

— Да что же это? Нервы шалют?.. Измучился я за последнее время.

Стон повторился. Забалуийский судорожно схватился за коробку со спичками. Там их было только две. Первая сломалась в его дрожащих руках; вторая зажглась, на мгновение озарила мрачную комнату и погасла. Нельзя сказать,

чтобы у генерала были слабые нервы. Он хладнокровно смотрел в былое, невозвратное время своего величия, и на экзекуции, производившиеся его карательными экспедициями, и на раненых, корчащихся в пороховом дыму. В его генерал-губернатор-



К чорту! Дерете как, с мертвого. Свииска соба!

ство на юге в 1920 г. обыватели, проходя мимо его дома, опасно переходили на другую сторону. Генерал с одинаковой суровостью лишал жизни врагов внешних и внутренних и рисковал собственной жизнью. Это было его ремеслом, вошло в привычку. Генерала было трудно смутить. Но нет ничего страшнее необъяснимого. Он лихорадочно вглядывался в темноту и висевшее полотноце уже, казалось ему, принимало человеческие формы, гримасничало... И жалобно мелодично повторялся все тот же звук.

— Довольно... Это, очевидно, галлюцинация. Лягу с головой под одеяло, не буду слушать!

Но здесь произошло чудо; когда генерал укрылся под одеяло, звук

вдруг стал гораздо явственней, под самым его ухом. Не помня себя от захватившего его тупого, животного ужаса, Забалуйский засунул голову под обе подушки. И тогда звук стал совсем близок и громок...

— Ну, теперь ясно, что это галлюцинация. Я сошел с ума!

Эта страшная истина представилась генералу вне сомнений. Он вспомнил все пережитое, свою нервность за последние месяцы... Не оттого ли он был на юге так излишне жесток. Не повлиало ли и Абрау Дюрсо, тогда истреблявшееся каждую ночь? Как он не замечал, что окружающие начали странно к нему относиться? Что-ж теперь? Горячая рубашка... психиатрическая больница... А звук все повторялся.

— Да замолчи же ты, проклятый; замолчи! Он в иступлении бросил в пространство обоими подушками. Одна попала в оконное стекло.

Вошедшие утром хозяева застали генерала сидящим на постели, бледного, с волосами, прилипшими к покрытому холодным потом лбу. Он уже не сомневался в своем помешательстве... впогибшей жизни.

И когда после оживленной обоядной мимики, он при свете дня внимательно взглянул на свое ложе, то, к ужасу обоих хозяев, схватил Иешича за ворот.

— Свински! Чорт телячий!

Более энергично ругаться он не мог. В его лексиконе были только кулинарные слова, которыми он по неволе заменял ругательные.



Генерал сидел на постели бледный, с волосами, прилипшими ко лбу...

— Я из тебя пахованну котлету сделаю!

Такой гнев его там, на далекой родине, поверг бы в трепет весь город.

Однако Иешич остался тверд, помня, что полтора ста динаров уже получены, и униженно объяснял, что не может предложить его превосходительству другой кровати. Поступиться такими деньгами бывший генерал-губернатор не мог — и вот отчего спит уже третью неделю на рояле, продолжающем мелодично стонать от каждого его движения.

ПШЕНИЧНЫЙ КОРОЛЬ

Рассказ Отто Рунга. Перевод с датского А. Ганзен.

И. Б. Готкинс, один из крупнейших биржевиков Чикаго, обзавелся новым автомобилем. Спортом автомобильным он уже давно перестал интересоваться, но ему нужна была первоклассная быстроходная машина, чтобы с наибольшей скоростью переноситься из загородной своей виллы в деловой центр города, где находились его конторы.

Низкий, широкий и удобный экипаж развивал скорость до 140 километров в час и был, по категорическому требованию Готкинса, устроен так, чтобы избавить владельца от необходимости все время созерцать перед собою локти шоффера. Рулевым колесом было, по системе Гансома, снабжено заднее сиденье, а Готкинс мог чувствовать себя, если не единственным, то, по крайней мере, первым седоком в собственной коляске.

В первую же поездку на новом автомобиле с ним приключилось следующее.

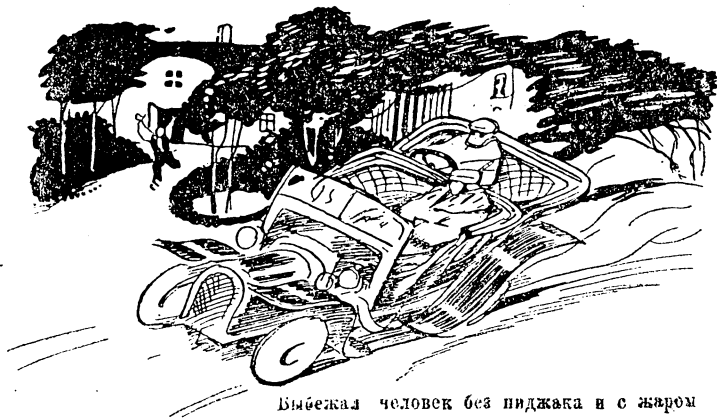
Хлебный рынок переживал в то время острый кризис. Готкинс был королем пшеничных спекулянтов и блокировал рынок, скупив чуть не весь годовой урожай пшеницы — миллионы бушелей — и не выпуская

их из складов, чтобы они все пухли и пухли в цене.

Бешеное взвинчивание цен на пшеницу естественно влекло за собой с одной стороны сильное падение курса на фондовой бирже, а с другой — чрезвычайно резкое вздорожание зернового хлеба в некоторых из стран Старого Света, что для Готкинса имело лишь значение приятного симптома все возрастающего спроса. В течение нескольких недель цены на пшеницу поднялись почти до тех цифр, какие Готкинс намеревался диктовать рынку, но вдруг, благодаря некоторому противодействию одного коллеги и конкурента Готкинса, курс начал колебаться. И вот, намереваясь сделать решительный шаг к полному захвату рынка в свои руки, Готкинс в это знаменательное октябрьское утро и отдал в гараж по телефону распоряжение подать ему новый автомобиль часом раньше обычного.

Ровно в 9 часов утра раздался трехкратный гудок. Готкинс, быстро миновав белый вестьюбль, где слуга торопливо набросил ему на плечи медвежью шубу, и спустившись по мраморной лестнице, погрузился в эластичные кожаные подушки автомобильного сиденья. С визгом обогнула машина большой бассейн посередине двора и выехала за ворота. Любимые шотландские гончие Готкинса, игравшие на лужайке, запрыгали, завилили хвостами и радостно залаяли при знакомых гудках автомобиля, а Готкинс закивал им на прощание.

В эту минуту из надворного строения выбежал человек без пиджака



Выбежал человек без пиджака и с жаром замахал руками вслед экипажу...

и с жаром замахал руками вслед отъезжающему экипажу, но Готкинсу вдруг показалось, что из памяти его ускользают кое-какие из сложившихся уже у него комбинаций, и он предоставил человеку махать руками, а сам, откинувшись назад, полузакрыв глаза и открыв известный клапан в мозгу, привел в движение свой мыслительный аппарат. Сорок радио-телеграмм, принятых за ночь частными агентами Готкинса, начали комбинироваться в различные фигуры.

— Так! — решил он. — Сделаю это сегодня же. Вильсон больше не в состоянии. Выдыхается. Последние его маневры — настоящие конвульсии. Сегодня я нанесу удар, и через пять дней ему капут.

Вдруг его поразило нечто: справа мелькнула какая-то белая вилла, которой здесь быть не полагалось. — А вслед затем мимо замелькали ряды тополей, словно цепь черных знаменосцев.

— Алло! Что это? Или эта дорога короче? — Он плохо разбирался в здешних дорогах, воспринимая их лишь как дистанции в столько-то километров. Но вот, побежали белые бревенчатые постройки, целый дачный поселок, который отнюдь не входил в программу, — это Готкинс знал твердо. С сердитым недоумением обернулся он назад к шофферу, защитная маска которого неподвижно желтела за откидным верхом переднего сиденья коляски; все остальное сливалось от все возраставшей скорости движения в какой-то дымный вихрь.

— Ерусалем! — крикнул он, — куда же вы едете?

Ответа не последовало. И тут Готкинсу вспомнился вдруг человек, бежавший за автомобилем по двору, размахивая руками. Да ведь это же был Макк, его шоффер. Это он выскочил из своего помещения, что-то взволнованно кричал, делал знаки...

Готкинс нырнул в подушки, с минуту раздумывая молча, затем медленно повел головой, чтобы взглянуть через свое плечо на руки

шоффера. Макк за день до того сильно обжег себе левую руку при вспышке бензина, — припомнил Готкинс. Нет, ни на одной из широких мускулистых рук, твердо державших руль, не было ни бинта, ни каких-либо следов ожога. Стало быть, это не Макк? Вдобавок они проносились теперь мимо широко раскинувшихся перекопанных канавами полей. Значит, держали курс прямо к северу, тогда как Чикаго лежал прямо к югу.

Готкинс собрался с мыслями.

— Алло! Кто вы?

И, не получая ответа, спросил:

— Куда вы меня везете? Кто вас нанял?

Он был уверен, что это подстроил Вильсон — и опять, не дождавшись ответа, продолжал:

— Сколько он вам дал?

Разумеется, это Вильсон, крупный хлебный спекулянт, с которым Готкинс конкурировал вот уже несколько месяцев; это он инсценировал похищение. Он знал, что Готкинс не ослабит хватки еще несколько недель; сам же он близок к истощению.

— Вот и хочет придержать меня сегодня за горло, завладеть на денек рынком и взять верх. Ну что-ж, он отчаянная башка, коварен, как индеец, но сомноу не так то просто сладить. Случалось нам и раньше схватываться с ним, и всегда верх оставался мой.

Готкинс сделал попытку кинуть через плечо по адресу шоффера:

— Сто долларов, если вы немедленно доставите меня в город!

Опять нет ответа, и Готкинс, не задумываясь, продолжал:

— Тысячу долларов, и полиция ничего не узнает!

Из под маски вырвался не то хриловатый смешок, не то легкий скрежет зубов.

Готкинс вынул свой бумажник:

— Десять тысяч наличными!

Дело шло о миллионах и, как всякий другой товар, необходимо было перебить у Вильсона волю того человека.

— Соглашайтесь, пока даю, — прибил Готкинс.

Замаскированный шоффер и тут ничего не ответил, но так круто повернул машину, что щиток колеса чиркнул о придорожный камень. Готкинс взглянул на контрольный аппарат и увидел, что они делают по 100 километров в час.

— Убавьте ходу! — рявкнул он. — Вы мчите нас обоих прямо в ад!

Они вылетели на широкое шоссе; белые камни, отмечающие расстояние, мелькали мимо, словно монеты, отсчитываемые от столбика, и укладывались позади них новым столбиком.

Вокруг растиались обширные поля, а на горизонте проступала в тумане закругленная цепь высот.

— Мы, по крайней мере, в 20-ти милях от города — подумал Готкинс. Хотелось бы знать: сколько заплатит ему Вильсон?

И в порыве внезапного страха он крикнул:

— Покончим на сорока тысячах и не цента больше!

В ту же секунду передок автомобиля устремился не по направлению стремящейся ленты шоссе; но к выемке в его ограде, за которою был спуск на значительно ниже лежащее поле. Готкинс испуганно предостерегающе вскрикнул, но шоффер уже рванул машину в сторону и направил курс к выемке на противоположной стороне. Так, резко виляя из стороны в сторону, какими-то порывистыми, внезапными скачками, экипаж с молниеносной быстротой лавировал между глубокими рвами, подстерегавшими его с обоих краев шоссе.

— Вы прямо сумасшедший! — ревел Готкинс. — Хотите, чтобы мы разбились в дребезги!

В одну минуту рухнуло его предположение, что этот человек подкуплен Вильсоном. Так правят только сумасшедшие. Быстро пошарил он под сидением и выудил оттуда револьвер, с которым всегда ездил, повернулся и прицелился прямо в желтоватую клеенчатую маску, с неподвижностью забрала торча-

щую над никкелированной рамою экипажа.

— Стой! — крикнул он. — Руки вверх!

Снова послышался тот же хриповатый смехок, и голос, заглушаемый маской, забасил:

— Я пытался поговорить с вами третьего дня и вчера в вашей конторе. Вам все некогда было. Сегодня я узнаю, как вы расцениваете свое время — на доллары. И все же я добился разговора с вами бесплатно.

— Вздор! — отозвался Готкинс. — Остановитесь или я влеплю вам пулю в башку!

— Подумайте сначала, — предложил шоффер. — Мы делаем 120 километров в час. С мертвецом на руле рискованно пускать машину, — раз вы сами на ней едете — даже в течение тех пяти секунд, которые понадобятся вам, чтобы занять мое место.

Готкинс увидел, что они мчатся прямо на группу телеграфных и телефонных столбов с целой сетью проводов. Страх железными клещами стиснул ему глотку, но в следующий миг они уже снова очутились на прямой линии шоссе, и Готкинс привстал на колени, чтобы оказаться лицом на одном уровне со шлемом шоффера. Но он не мог проникнуть взором сквозь выпуклые стекла очков посеревшей от пыли маски.

— Что вам надо от меня? — шопотом спросил он.

— Я искал разговора с вами и вчера, и позавчера, — прозвучал ответ. — Но вас нельзя было добиться. Я намеревался внушить вам новые представления.

— Сколько вам нужно? — прошипел Готкинс. — Скажите свою цену. Я не прочь поторговаться.

Он чувствовал, что главное — это выиграть время. Вспомнил, что в нескольких милях дальше находится сторожка, где дежурные полицейские с контрольными часами проверяют скорость проезжающих автомобилей с целью уловления нарушителей закона о предельной

быстроте. Необходимо занять этого безумца разговором, пока они не приблизятся к ловушке.

— Вы так и смотрите на это, как на особый курс обучения, — упрямо продолжал шоффер. — Я давно наблюдаю за вашими махинациями и третьего дня решил мирно побеседовать с вами, втолковать вам, как ваши маневры отражаются на нас грешных. Но мой план разбился о вашу недоступность. К вам в контору не пробраться. Пришлось действовать иначе. Я арестовал вас в вашем собственном автомобиле. Рекомендую вам рассмотреть нас обоих, как единственных людей на всей планете, мчащейся в мировом пространстве, и не рисковать прыжком. Вы не обретете почвы под ногами, спрыгните в бездну! Вам остается только глядеть вперед. Я же беру на себя труд дать вам наглядное представление о вашем курсе за последние месяцы, и вы будете следить за ними глазами лично и кровно заинтересованного, а не постороннего наблюдателя. Я, так сказать, привязал вас к жерлу заряженной пушки, чтобы вы были внимательнее. Вы жизнью своей, целостью всех своих костей, заинтересованы в том, что произойдет.

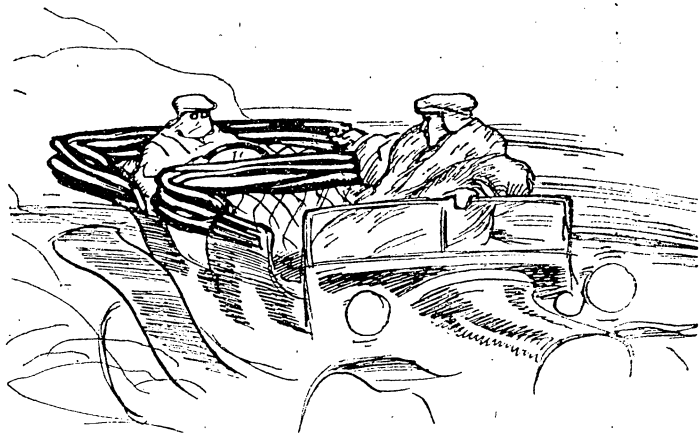
Готкинс пожал плечами:

— Вы меня не застрашаете. Моя жизнь связана с вашей. Вы как будто забыли об этом. Небось, побережете свои собственные кости...

Но так как в эту самую минуту автомобиль отчаянно метнулся в сторону, прямо на мощные столбы висячего моста, через который им предстояло проехать, то Готкинс в ужасе завопил:

— Вы совсем обезумели! Осторожнее! Или вы бредите самоубийством?!

В самый последний миг автомобиль выправил курс, а шоффер засмеялся:



Готкинс прицелился прямо в клеенчатую маску...
Стой! Руки вверх!

— Иногда и самоубийство разумно, если диктуется высшими соображениями. Или вы никогда не слышали, что люди жертвуют своей жизнью для блага других? Вы, стало быть, все еще того мнения, что умно жертвовать только чужою жизнью ради собственной выгоды?!

— Так вы анархист! — презрительно буркнул Готкинс.

— А вам, как на товарной бирже, непременно надо наклеить на меня какой-нибудь ярлык? Я ведь уже дал вам понять, что во время этой поездки вы должны смотреть на себя просто, как на моего ученика. Вам предстоит усвоить себе серьезную мудрость, прежде чем я выпущу вас.

— Постойте, — заворчал Готкинс. — Вы, разумеется, исходите из ложного представления, что я и мои коллеги имеем сколько-нибудь реальное влияние на колебания рыночных цен, на биржевые повышения и понижения, что мы ответственны за финансовые катастрофы, за биржевую панику? Вы, пожалуй, по детски воображаете, что мы дирижируем всем, только нажимая на телефонные кнопки. Это совершенно превратное представление!

Я лишь один из винтиков сложного механизма. Орудие скрытых и невидимых принципов, руководящих экономическим развитием, тайн-

ственных и не поддающихся учету сил производства и обмена. Эти силы используются нами — биржевиками — со всем нашим осведомительным аппаратом и опытом, как посредниками — проводниками. Нет, вы бьете далеко мимо цели! Во мне вы разите только руку, а не мозг. Вы — тупоголовый фанатик. Выпустите же меня!

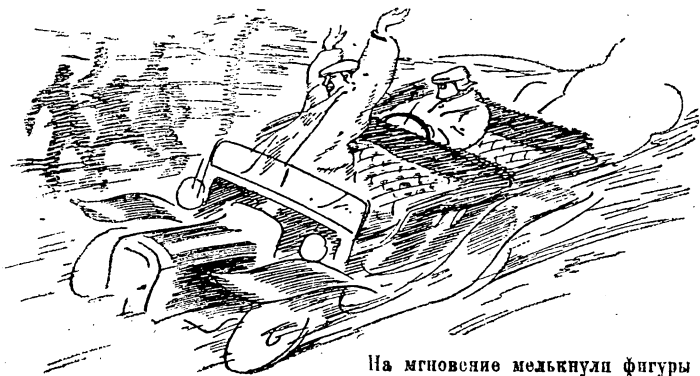
Но шоффер покачал головой.

— Я слышал такие рассуждения и раньше. Но теперь я не верю, что бы эти господа играли столь скромную роль. И скажу вам, сколько я ни ездил по свету, никогда и нигде я не встречал принципов, всюду действуют люди. Но когда я пытался встать с кем-нибудь из них лицом к лицу, — человека не оказывалось. Он прятался за ширмами теорий и говорил, что лично он тут непричем и что мне надо обратиться к принципам, с ними, если угодно, и воевать. Но теории всегда и везде были и будут глухи, бесчувственны и безответственны. Пусть все общество управляется глубокими вечными законами, но мы — живые люди — держим их в своих руках силою нашей цивилизации, и некоторые из нас, горсть, имеет больше власти, чем все остальные, хотя эти властители и притворяются демократами, ссылаются на Контрольные Советы, на всеобщее голосование. Один из таковых — вы. Вы наложили свою властную руку на самое драгоценное и необходимое для

всех — на хлеб. Поэтому я выбрал именно вас, вам решил дать живое представление о том, каково тем, кем вы правите. Вы должны все время помнить, это это вы сидите на моем месте и правите, а седоком у вас — человечество. На всю эту дорогу вы можете смотреть, как на диаграмму, на сетку, по которой ваш курс вычерчивает свою кривую. Как я теперь бросаю вас из стороны в сторону, в бешеном стремлении вперед, в головоломной скачке по бессмысленно опасной дороге, так вы мчали нас путем страшных кризисов и крахов, — к безумной дороговизне и нужде. Не угодно ли вам испытать, что испытывали мы, маленькие подвластные люди, когда вы и ваши приспешники играли и жонглировали нашими судьбами, как я теперь играю вашей, потому что случайно получил власть над вами — на время! Но есть все таки разница: каждый раз, как я мчу вас навстречу кризису — как вот сейчас — видите? у вас есть шанс выскочить из него благополучно — как вы видели также сейчас. Каждый же из ваших маневров, удачный или неудачный для вас лично, без промаха разил, сокрушая тысячи людей, если не на юге, так на севере, или на востоке, или на западе. Итак, внимание! Видите: дорога идет вверх, поднимается острыми зигзагами все выше и выше в горы. Вы ощутите все конвульсии рынка. Нервы в струнку!..

— Да вы же ошибаетесь, — воскликнул Готкинс. — Продолжаете преувеличивать мое влияние. Я сам вынужден бываю считаться с разными неожиданностями, с игрою слепого случая. И я рискую!

— Хорошо, кивнул шоффер. — Я рискую с вами вместе. Я тоже считаюсь со слепым случаем. Тем более, что я далеко не столь опытный и ловкий шоффер, как вы думаете. Мой личный риск сегодня больше вашего, когда вы



На мгновение мелькнули фигуры польнейских с поднятыми руками.

обделываете свои дела. Видите тот перекресток? Там мы свернем под прямым углом.

Но Готкинс знал, что на перекрестке караулят полицейские, поэтому он встал и замахал руками. Он видел, как стрелка контрольного аппарата у его локтя прыгнула на цифру 140 километров. Сплошную серую полосу летел мимо пейзаж. На мгновение мелькнули фигуры четырех полицейских с поднятыми руками, выросшие у края дороги.

Готкинс, схватившись за микрофон, проревел в трубку:

— Убийца, разбой! Бандит!—и увидел, что полицейские грозят ему вслед кулаками.

Шоффер весело рассмеялся:

— Теперь вас здорово оштрафуют за бешеную езду, за бранные слова и за то, что не остановились. Сами видите теперь, как плохо наложена ваша система. Государственная власть, на которую вашим классом возложена защита ваших интересов, в данном случае, когда вам действительно грозит опасность,—действуйте наперекор своему назначению и вас же оштрафует за недозволенную скорость. Нет! все зависит от действий самого человека. На нем, а не на системе лежит ответственность. Запомните же этот кругой поворот; он стоил нам только одного заднего щита.

Дорога пошла опять вниз, и в долине они увидели полотно железной дороги, соединявшей Чикаго с Индианополисом, узкую серую полосу, там и сям прорезанную шоссейными дорогами.

— Куда к черту вы меня везете?—закричал Готкинск.—В Клондайк, что-ли?

— Три месяца тому назад,—ответил шоффер,—вы в первый раз встретились с Вильсоном на Чикагской бирже, и ваши интересы скрестились. Это скрещение зловеще отразилось в разных концах света: в Моабите, в Уайтчепеле, в голодных округах северного Индостана, на тощих участках

ирландских фермеров, в занесенных снегом губерниях России. В тот раз ваша дорога только пересекала дорогу Вильсона, столкновения вы избежали, и все же это потрясло мир. Видите вы там, между холмами, дымное облачко? Вы знаете, что это поезд из Индианополиса с грузом пшеницы: он побивает свой собственный вчерашний рекорд скорости, чтобы пополнит ваши склады сегодня. Вы легко можете вообразить себе, что этот пылуший огнем и фыркающий паром железный дракон—сам Вильсон, ваш заклятый конкурент, ищущий столкновения с вами. Готкинс на перерез Вильсону! С максимальной скоростью!... Видите, где наша дорога перерезывает его путь?... Как вы думаете: успеет ли проскочить перед ним? Увидим! Ваши эластичные нервы против его ревущей железной мощи. Вы почувствуете, что чувствовали мы, ваши закабаленные пассажиры, во время вашего старта. Не забудьте только: Вильсон тащит за собою двадцать два бронированных вагона с пшеницей. У вас всего один шанс против двадцати двух, что вы проскочите.

Готкинс вцепился в край экипажа, который, раскачиваясь, как по волнам моря, мчался к переезду через железнодорожное полотно, где не было шлагбаума. Готкинса бросало то в жар, то в холод, смертельный страх буквально парализовал его. Да, сейчас он умрет, будет убит, раздавлен тысячетонным грохочущим железом, стерт в порошок... умрет... Телеграфные столбы точно выросли из-под земли. По линии мчался черный локомотив, волоча за собой свое массивное железное туловище, мчался, как снаряд, выпущенный из орудия, окутанный белым паром, с грохотом... Грохот все громче и громче... все ближе и ближе... А вон и место пересечения дорог... страшное место встречи!.. Все ближе... надвигается на Готкинса... мчится к нему с бешеной скоростью это скрещение стальных

сверкающих рельс с белою лентою шоссе...

...Вот! темным колоссальным тараном надвинулся по гудящим рельсам локомотив... железное чудовище с оглушительным ревом ринулось на Готкинса, обдало его лицо кипящими мелкими брызгами, обводило влажным, липким паровым облаком... Готкинс потонул в нем...

Но грохот остался позади... в каком-нибудь метре расстояния. Они проскочили... Готкинс обвис, распластался как тряпка, на эластичных подушках сиденья. Ужасная встряска как будто отделила друг от друга все его кости, и теперь они болтались в его теле, как в мешке. Но все-таки оба они спаслись, спаслись словно чудом. Поезд исчез в туннеле, как дракон в ущелье.

— Вилите, — сказал шоффер, — мы удачно прорезали путь Вильсона. Но не меня одного вам благодарить за это. Теперь мы продолжим свое движение, как и вы в свое время продолжали — после того, как пересекли путь Вильсона.

— Стойте! закричал Готкинс. — Остановитесь! Неужели вам не довольно? Я сдаю, только отпустите меня. Дайте мне сойти. Я уплачу вам сто тысяч долларов на благотворительные цели.

— Вы можете уплатить, сколько захотите, по окончании урока, — сказал шоффер. — Не годится брать с вас плату вперед. Сейчас мы круто свернем на узкую грунтовую дорогу. — Так! — Вы не удивляйтесь, что я везу вас в сторону от главной дороги; вспомните, как вы сами месяц тому назад повели пшеничный рынок таким путем. Вы лучше поймете меня, когда я добавлю, что везу вас в тупик; по этой дороге только возят рабочих в каменоломни и обратно. Она обрывается у самой скалы; это настоящий каменный мешок, свернуть некуда. И в этот тупик — „корнер“, если хотите, — мы летим, не убавляя ходу. Может быть вы догадаетесь, какой из ваших маневров я таким образом демонстрирую вам?

... Так именно вы загоняли нас в тупик, прижимали к стене вашу биржевую игроку. Вы закупорили мировой хлеб, весь годовой урожай в таком вот мешке, и завязали мешок наглухо. Остановили живительный поток зерна, законопатили все шлюзы. Вы взяли себе в помощники голод и нищету, преступление и безумие. Вы ущемили в тисках всех, кто искал хлеба, всех голодных, вы закручивали нас все крепче, взвинчивали цены до тех пор, пока не выжимали из нас своих процентов. Вот и я теперь помчу вас, ущемленного между этими немоллимыми скалистыми стенами, — навстречу уничтожению, небытию, смерти.

Готкинс видел, как шоффер позади выпрямился, стиснул руками колесо, впился вдаль глазами сквозь выпуклые стекла очков, — весь серый от пыли, неподвижный, как бронзовый истукан демона.

Видел он и ущелье... Чем дальше, тем все уже и уже становилась дорога, упиравшаяся прямо в страшную стену песчаника, словно открытую ржавчиной и слегка выгнутую, как спина, готовая принять удар. Он уже предчувствовал, как вдавятся в эту стену его руки и ноги и как он замрет, затихнет, закупоренный, погребенный на дне автомобиля. Невыразимый ужас пронизал его грудь, парализовав его нервную систему... и все померкло в его мозгу...

Но в нескольких метрах от скалы шоффер круто затормозил ход, и машина привстала на дыбы, и фыркающая, как разъяренный зверь, затем опустилась на передние лапы, судорожно качнулась на бок, на другой... колеса врезались в песок, и автомобиль, весь вздрогнув, остановился.

Несколько минут спустя Готкинс уже настолько пришел в себя, что выскочил из экипажа. Искося поглядел он на преграждавшую путь в каком-нибудь метре от передка автомобиля мощную, озаренную солнцем скалу. Земля как-будто еще колебалась под его ногами, но мозг

его быстро прояснился. Он был несколько возбужден, настроение было приподнятое, но приятное. У самого подъема в гору, на извилистой узкой тропе стоял шоффер, снявший шлем в маску. Готкинс увидел резко очерченное бородатое лицо и пристально глядевшие на него темные, пронзительные глаза.

Готкинс мгновенно поднял револьвер и прицелился. Человек представлял превосходную мишень, рисуясь на светлом фоне скалы, свидетели отсутствовали, и можно было сослаться на вынужденную самооборону.

— Теперь я уложу вас на месте, как обещал.

Человек улыбнулся. Взгляд его словно ушел куда-то вглубь, попернулся мечтательной дымкой.

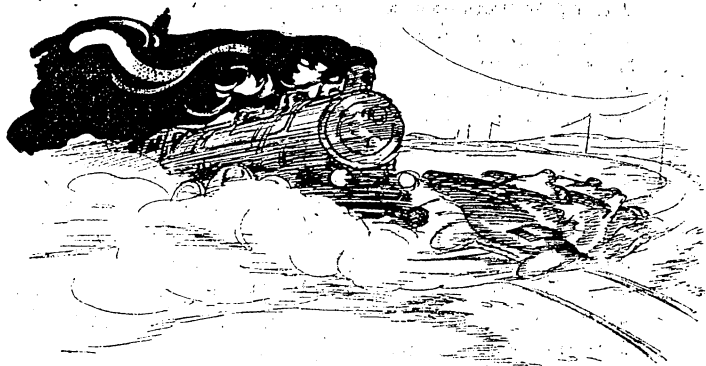
— О нет, — сказал он. — Вы меня не убьете. По той же причине, по какой я не сделал этого, когда ваша жизнь зависела от нажима моего пальца на руль.

— А что мне помешает? — спросил Готкинс. — По какой такой причине, по вашему, я пощажу вас?

Тот снова вперил в него свои темные, серьезные глаза. — По той самой, по какой я пощадил вас; по той, что вы теперь чувствуете то же, что чувствовал я, давая вам свой урок — с единственной целью заставить вас почувствовать, что мы — братья.

Рука Готкинса с револьвером опустилась, как парализованная, и он застыл в безмолвном изумлении. Никогда еще не слышал он ничего подобного. Больше всего, однако, изумляло его самого то, что рука у него не подымалась выстрелить. Он смотрел, как человек карабкался по узкой тропе вверх и, наконец, исчез из виду.

Впоследствии Готкинс рассказывал в Биржевом Клубе свое приключение с существенными видоизменениями. И любил заканчивать так:



Железное чудовище с оглушительным ревом ринулось на автомобиль...

— Как видите, меня спасло исключительное мое спокойствие и хладнокровие, закаленное всевозможными испытаниями; только они могли в те критические минуты сыграть роль сдерживающего начала, импонируют отчаянному безумцу и принудить его повиноваться. Кто он такой собственно был, — я так и не узнал. Да и не все ли равно! Я ведь и не жаловался на него в полицию. Не вижу проку в мести. И я доказал, что могу справиться сам, без полиции. Жизнь моя имеет достаточный вес, чтобы постоять за себя в любой опасности. Но, разумеется, я прогнал шоффера Макка, который дался в обман, и привратника, который проспал. 20 долларов штрафа за недозволенную скорость я уплатил, не поморщившись. А моя спекуляция?.. Да, вот видите, возвращаясь в тот день в своем автомобиле в город, я знал, что не попаду в свои котлеты до закрытия биржи и признаюсь, не раз вытирал со лба холодный пот при мысли, что рынок весь день во власти раббойника Вильсона... И готовился к тому, что мои служащие встретят меня торжественно-похоронными минами, какими встречают обанкротившихся принципалов.

... Но вот, послушайте и подивитесь неисповедимым путям providения! Мое отсутствие в столь критический момент вызвало на бирже панику, какой и не запомнят в Чикаго да и во всем мире.

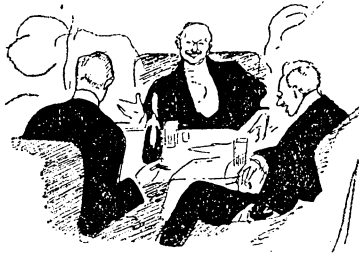
Распространились самые дикие слухи о моем разорении, полном банкротстве, даже о самоубийстве. А Вильсон, не встретив меня на поле битвы, прямо обезумел от самомнения и высокомерия, вообразил себя неограниченным владыкой рынка и — зарвался, сделал колоссальные, чудовищные закупки, далеко превышавшие его истощенные финансовые силенки. И, когда я на другой день занял свое место, к безграничному удивлению всей биржи (вы это помните, господа?) — Вильсон был придавлен миллионами бушелей закупленной пшеницы, за которую ему нечем было расплатиться, и цены на кото-

рую диктовал я. Я раздавил его, как вот этот окурок сигары, двумя пальцами. С тех пор пшеничный рынок — безраздельно мой.

И Готкинс распускал свое хитрое, как у индейца, лицо в любезную улыбку, обнажавшую хищные клыки.

— Да, господа, так высшие силы оберегают счастливо сложившуюся систему крупного капитализма. Они даже безумного и сентиментального

фанатика, даже отуманенный, лезущий приступом на небо мозг, делают своим послушным орудием. И даже идеализм имеет свою цену — между братьями...



НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!

ЗАДАЧА № 9.

Существует одна очень старинная игра со словами: берутся два имени существительных нарицательных, и одно превращается в другое при соблюдении следующих правил: составляется цепь слов, отличающихся друг от друга не более, как на одну букву; все эти слова должны также быть именами существительными нарицательными и стоять в именительном падеже единственного или множественного числа.

Пример: Превратить слово „друг“ в слово „враг“:

Друг, круг, круги, краги, враги, враг.

Примечание: можно 1) переставить букву из одного места в другое, или 2) добавить одну букву в любое место слова, или 3) убрать одну букву, или 4) заменить одну букву другою.

Задание конкурса состоит в следующем: необходимо связать цепью промежуточных слов два слова, не имеющих ни одной общей буквы, и сумма букв коих должна быть наибольшей.

Примечание: в приведенном примере в двух словах будут $4 + 4 = 8$ букв, но для конкурса такие пары не годятся, так как буквы „р“ и „г“ общие в обоих случаях.

Два победителя конкурса получают в премию по книге М. А. Яковлева: Народное песнотворчество об атамане Степане Разине.



Рассказы Рони-младшего. С франц. Иллюстрации М. Я. Мизерницкая.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Не думаю, чтобы у кого-либо могло быть приключение, подобное моему. Среди самой страшной драмы в нем проскальзывает некоторый комический элемент, который, если вдуматься, кажется еще более ужасным. Приключение это осложняется тем, что произошло оно при свидетеле, что свидетель этот принимал в нем, осмелюсь выразиться, такое же участие, как я, и что с тех пор мы не можем без содрогания встречаться друг с другом.

В 189... году я участвовал в экспедиции под начальством Цидлера, сухого, как виноградная лоза, эльзасца, который получил назначение преимущественно перед многими другими только благодаря своему мужеству. Экспедиция, действительно, не требовала ни ума, ни больших способностей, а только удали, и не малой. Предстояло с очень небольшим отрядом перерезать часть Африки, чтобы упрочить французское влияние над негритянским царьком, владения которого простирались к югу от нашей сферы влияния. Отряд должен был быть небольшим, чтобы пройти незаметно для других держав, и быть готовым ко всякой опасности, ибо ему предстояло встретиться в пути с двумя или тремя

племенами убежденных каннибалов. Все это делали не раз: другие до нас успешно выполняли подобные поручения при обстоятельствах более трудных. Цидлер знал, что после всех испытаний его ждет повышение, не говоря уже о денежной награде. Стоило ему только представиться министру, тоже эльзасцу, чтобы тотчас же получить назначение начальником экспедиции.

Цидлер сразу остановил свой выбор на Бэтюне, которого он знал давно и ценил, как человека, основательно изучившего картографию и топографию — науки, самому Цидлеру мало знакомые. Бэтюн настоял на том, чтобы привлечь меня; мы были друзьями детства; это путешествие вдвоем по неисследованной стране являлось осуществлением нашей былой мечты.

Началось с того, что мы все схватили лихорадку при высадке. Один бог знает, какое количество хинина нас заставили проглотить. Цидлер не хотел и слышать о нем; вместо хинина он стал усиленно питаться мясом, и, честное слово, не стал чувствовать себя хуже от этого. Наполовину оправившись, мы пустились в путь вглубь страны, где наше излечение должно было окончиться. Несмотря на воздух плоскогорий, напоенный кисло-

родом, у нас остались какие-то следы лихорадки, смена настроений, беспокойство, временами даже приступы помешательства, когда наши привычные европейские идеи приходили в расстройство. Дикие, могучие первобытные инстинкты пробуждались в нас и поднимали вой, как волки вокруг стоянки путешественников. Одного Цидлера не покидало хладнокровие, и он держал нас в железной дисциплине. Этому бравому человеку было известно проклятое действие африканского климата, которому он не поддавался, благодаря своему эльзасскому добродушию, а может быть также и вследствие возраста. Мне и Бэтюну пришлось пережить тяжелые минуты. Мы холодно и сурово отводили друг от друга обычно так дружески смотревшие глаза. У нас вырывались недобрые слова, были нехорошие мысли. Иногда один из нас внезапно скрывался в кустарниках и часами наслаждался одиночеством, подобно нездоровому опьянению. А иногда, наоборот, мы предавали в приятным школьным воспоминаниям, и радостное, дружеское чувство наполняло нас. Тогда Цидлер улыбался, покуривая трубку, и все засыпали счастливые.

Таким образом мы добрались до тех страшных племен, о которых нас предупреждали. Нам пришлось прибегнуть к всевозможным дипло-

матическим ухищрениям, чтобы быть допущенными к вождю одного из племени; оказалось, что у этого верховного предводителя вид далеко не свирепый, и человек он разумный и миролюбивый.

Он принял нас с почестями, выказал благодарность за музыкальный ящик, который мы ему поднесли в подарок, объявил себя нашим союзником и предоставил в наше распоряжение несколько хороших слуг, в том числе трех негритянок. Две из них были по просту уродливы, но у третьей было такое живое выражение лица, такое изящество форм, что редко можно встретить даже в Европе. Она была не местного происхождения; вождь племени похитил ее вместе со многими другими во время одного набега. Впрочем, он ценил ее значительно меньше, чем двух других, которые были почти безформенны, до такой степени они заплыли жиром.

... Бэтон и я влюбились в эту малютку. Она была в полном расцвете, смысленная, очень нежная, смешливая... Мы стали ухаживать за ней. Мне кажется, что я ей больше нравился, чем Бэтон, но он покорила ее, подарив ей какие-то стеклянные безделушки. Мне показалось вероломным с его стороны прибегать к такому способу, и я высказал ему это. Мой товарищ отнесся свысока к моему замечанию. Мы поссорились. Она улыбалась нам, то одному, то другому, ничего не понимая в нашем соперничестве, бедное, невинное дитя, рабыня, готовая подчиниться всякому принуждению.

Должен отдать справедливость Бэтюну, он был также сильно влюблен, как я, и был неспособен грубо, насильно овладеть ею. Итак, мы ворковали с нею, расточая утонченные нежности, и чем дальше шло время, тем все усиливалась наша страсть. Она стала страшной.

За один взгляд, за одну улыбку этого цветущего ребенка, мы готовы были растерзать друг друга. В конце концов мы решили драться.



Царек подарил нам трех негритянок...

Очень хорошо помню наш поединок. Мы выбрали укромное местечко сзади пустой хижины. Опасаясь Цидлера, мы обошлись без свидетелей.

К сожалению, в этих отдаленных странах у хижин есть уши. Негры заметили по нашему поведению, что мы находимся в ссоре, но не догадывались по какой причине; они следили за нами. Некоторые из них увидели, как мы обнажили шпаги и побежали предупредить своего царька. Тот выскочил из царской хижины и стремглав бросился к месту, где мы стояли в боевой готовности. Я только что ранил Бэтюна в плечо.

Царек, сильно жестикулируя, стал упрекать меня за это. Иногда он призывал в свидетели своих высших сановников, и те выражали ему свое одобрение. Несмотря на большое старание, мы только частично могли уловить смысл его увещания. Но так как оно ясно клонилось к тому, чтобы примирить нас, и так как мы очень опасались, как бы не пришел Цидлер, то Бэтюн и я кончили тем, что протянули друг другу руку. Затем мы поблагодарили царька за его любезное вмешательство. Все это при помощи жестов за отсутствием переводчика. Цидлер держал его всегда при себе.

Царек еще несколько минут настаивал на чем то, что он, повидимому, принимал близко к сердцу, но в чем именно было дело, мы так и не поняли, поспешили прекратить разговор на эту тему, выразив ему наше полное одобрение. Тогда он обратился к своим сановникам. Одному из них он отдал приказание; все испустило радостные клики; наше совещание было прервано.

Оставшись одни, Бэтюн и я повернулись друг к другу спиной: ни наша страсть, ни наша ненависть не были удовлетворены. Дни протекали своим чередом, и только однажды пришел переводчик и напомнил нам, что царек ждет нас на большой пир, назначенный на первые дни полнолуния. Мы поняли, что это именно и было то обстоя-

тельство, которое вождь принимал так близко к сердцу; мы ответили, что, конечно, не забудем об этом. Переводчик лукаво подмигнул нам, пожелал нам своим ломаным языком всяческого удовлетворения, затем вернулся к Цидлеру.

Вслед затем маленькая негрятка стала грустной, не смотря на знаки внимания, расточаемые ей сановниками, и глаза ее светились горячим укором.

Мы пытались развлечь ее, прижимая руки к сердцу, чтобы выразить, как сильно мы любим ее. Но этот жест наводил на нее, повидимому, особый ужас, ибо при виде его она тотчас убегала, а один из сановников догонял ее, и длинной речью ему удавалось снова вызвать улыбку на ее устах.

Наступил день пира. Мы много пили и ели из вежливости к царьку, который был очень внимателен к нам и несколько раз посылал нам мясо со своего стола, причем так тонко улыбался и выказывал такую особую симпатию к Бэтюну и ко мне, что Цидлер решил спросить переводчика, чем заслужили мы такое милостивое отношение со стороны царька.

Переводчик объяснил нам, что после того, как царек подарил Цидлеру трех негрятенок, он был неприятно поражен, увидев, как холодно начальник экспедиции принял этот подарок; что сердце у него отошло, когда он узнал о нашей страсти к чужеземной негрятке, что, впрочем, он не одобрял нашего выбора, считая двух других более привлекательными; но что он не желал спорить о вкусах; что его удивление и восторг достигли крайнего предела, когда он увидел, что наше желание овладеть малюткой довело нас до того, что мы подрались из за нее; что он нас развел и примирил, указав на то, что она достаточно велика для двоих, и что, наконец, он настаивал на том, чтобы мы съели ее на этом пиру при непременном условии, что нам достанутся самые вкусные куски.



Мы вскочили бледные от ужаса и бешенства и выхватили револьверы...

Услышав это, мы вскочили, бледные от ужаса и бешенства, и стали осыпать ругательствами гнусного устроителя пиршества, угрожая ему нашими револьверами.

Цидлер остановил нас:

— Слишком поздно!..— сказал он. Вот к чему привело вас ваше безумие!

Что касается царька, то он даже не понял нашей ярости; он вообразил, что мы упрекаем бедную малютку за ее жесткое мясо, и объяснил нам через переводчика, что он определенно советовал нам съесть сначала двух жирных негритянок, но что мы, вопреки здравому смыслу, упорно предпочитали худшую.

Бэтон и я долгое время были больны. До сих пор нам тяжело встречаться друг с другом. Что касается Цидлера, то благодаря своему здоровенному желудку эльзасца он... переварил это чудовищное приключение.

ЛЮБОВЬ

Когда наш друг Вокрэ, исследователь экзотических стран, вернул-

ся после долгого путешествия, мы, шестеро его старых школьных товарищей, пригласили его в Гранд-Отель пообедать с нами в интимном кругу. В отдельном кабинете, под наблюдением метрд'отеля, нам подали великолепный обед. Беседа наша носила сердечный характер. Мы были связаны лучшими воспоминаниями жизни. Мы засыпали друг друга вопросами: то и дело слышалось: „ты помнишь?“ Мы вспоминали наши литературные увлечения, наши споры, и любовные похождения наши в латинском квартале. За шампанским эта беседа так сблизила нас, что прожитые жуткие годы стали казаться нам игрой нашего воображения, те годы, в которые каждый из нас по своему пострадал от житейских невзгод, а Вокрэ в особенности пришлось перенести страшные испытания в странах лихорадки, солнечных ударов и крозопротитий.

Однако он улыбался, куря сигару, и тихая радость светилась в его глазах. Но когда один из нас произнес имя Сина Ко-Ки-у, сына одного негритянского царька и нашего одноклассника по лицу, у из-

следователя нервно передернулись губы, и улыбка стала сходить с лица.

— Ах, этот ужасный чернокожий! — прошептал он.

— Как ужасный чернокожий? — воскликнул Доной, ведь у вас не было лучшего друга, Вокрэ... Он не отставал от вас ни на шаг, одевался у вашего портного, и так во всем подражал вам, что мы прозвали его „тенью Вокрэ“, — определение, к негру более применимое, чем к белому.

— Я этого не отрицаю, — сказал исследователь, и вы, конечно, помните, как он дошел до того, что отбил у меня одну из моих любовниц, красавицу Эмму. И странно, бедняжка страстно привязалась к нему. Когда Сину Ко-Ки-у отозвали на родину, Эмма решила последовать за ним, и я уверен, что никто из вас никогда больше ничего не слышал о ней.

— Это правда, — сказал я. Какая странная судьба, должно быть, постигла ее. Я представляю себе ее фавориткой Сины, вынужденной подчиняться законам варварского государства, где царствует ее нежный друг, а ее чернокожие подруги, быть может, преклоняются перед ней, как перед идолом, или ненавидят ее. Во всяком случае, Сина и она дороги друг другу, тем, что их связывает прошлое — наш ослепительный Париж, наше искусство, наша литература, все то, чем Сина упивался с нами, Вокрэ.

— До того, что вывез с собою библиотеку лучших авторов, — спокойно ответил Вокрэ. Я это знаю по двум причинам: во первых потому, что я присутствовал при его посадке на пароход, затем потому, что в часы довольно горькие я почерпнул в ней некоторое утешение.

— Не хотите ли вы сказать, что во время вашего путешествия вы отыскивали эту библиотеку?

— И эту библиотеку, и самого Сину Ко-Ки-у. Но эта история

стоит того, чтобы рассказать вам ее несколько подробнее, а вот кстати нам подают кофе и ликеры. Прежде всего я хочу восстановить одно обстоятельство, которое, повидимому, вам известно: дело в том, что Далори, отец Сины, отозвал его как раз в тот момент, когда сам тайно подготавливал восстание против Франции. Восстание это было сурово пода-



Царек сидел на яне в полном параде...

влено, Далори взят в плен, а сын его, Сина, укрылся на Востоке, где ему удалось восстановить маленькое государство.

Я не знал о его пребывании в этих опасных областях, когда, 8 ноября 1900 г. я, исследуя Судан, добрался до границ наших владений в Конго.

Вы знаете, что исследование мое сопровождалось многими злоключениями.

Лихорадка и тяжкие труды опустошили ряды нашей экспедиции, и нас осталось всего человек двадцать, когда нам пришлось проби-

раться по самой отвратительной местности, какая только может быть, сплошь покрытой болотистыми лесами и сухим кустарником. От голода, от болезни у нас появились галлюцинации. На каждом шагу кому-нибудь из моих негров мерещился волшебный край, он бредил и медленно умирал. Хуже всего было то, что мы встретили отряд вооруженных людей, которые приняли нас с изъявлениями радости и обещали нам наилучший прием со стороны своего царька.

Я и двое других белых, принадлежавших к экспедиции, целовались от радости. Без конца шли мы через кустарники, пока прибыли, наконец, в государство, о котором нам говорили. Едва только мы вступили в деревню, царскую резиденцию, как нас окружили, схватили и связали по рукам и по ногам.

Признаюсь, что на этот раз в моем знании психологии негров оказался пробел. Откуда научились они этому искусству притворства, предательства?

Мне предстояло вскоре узнать это. Начали с того, что отделили чернокожих от белых. Я догадался, что последние предназначались для царского стола. Мы натолкнулись на людоедов! Как ни велик был мой ужас при мысли, что я буду замучен и съеден, я решил добиться того, чтобы первым пасть под ударами палачей, предварительно сделав крайнюю попытку спасти жизнь своих товарищей. Я попросил свидания с царьком, сказав, что мне известно местонахождение кладов — подобные басни наверняка производят большое впечатление на таких фантазеров, как негры.

Действительно, царек приказал привести меня к нему.

Представьте себе высокого чернокожего детину, сидящего на каком-то, покрытом старыми материями, пне, одетого в костюм от одного из наших лучших портных, но весь сплошь дырявый, со старым цилиндром из серого фетра на голове — одним из тех цилиндров, какие были в моде в Париже лет десять тому назад.

Сановник в жокейской фуражке держал над головой этого величества раскрытый зонтик. Эта царственная

карриатура очень внимательно смотрела на меня, и можете мне поверить, что я также внимательно смотрел на нее. Помутился ли у меня рассудок, была-ли у меня лихорадка? Внезапно из уст царька вырвался крик:

— Ты, Вокрэ!

Я не ошибся: это был Сина Ко-Ки-у во всем блеске невиданной пышности.

— А! — сказал я, — так вот что сделала с тобой цивилизация?

Он презрительно засмеялся:

— Дорогой мой, на что мне нужна здесь твоя цивилизация?.. Это было хорошо на бульваре Сен-Мишель, в Париже.

Хотя я часто слышал и часто сам убеждался, что негры удивительно скоро впадают снова в первобытное состояние, я растерялся перед таким полным превращением.

Тем временем Сина удалил своих сановников; он хотел поговорить со мною наедине. Уверю вас, что во время нашей беседы вопросы: „ты помнишь“ раздавались не реже, чем сегодня вечером среди нас.



Эмма стада жиреть...

Среди дружеских расспросов, я вдруг спохватился:

— А Эмма?

Лицо его изменилось; вместо добродетельного выражения появилась какая-то двусмысленная улыбка.

— Бедняжка умерла!—сказал он наконец.

— Проклятый климат? — спросил я.

— Нет,—возразил он,—это не то. Ты знаешь, конечно, что как раз, когда я прибыл в Африку с Эммой, государство моего отца было предано огню и мечу. Мы были вынуждены бежать на Восток с остатками моих храбрых воинов. Мы завоевали эту страну и впоследствии я заключил соглашение с Францией. Я очень любил Эмму. Помнишь ты библиотеку, которую мы вывезли из Парижа? Эта чудесная женщина читала мне Флобера. Мои негрятки немного ревновали меня к ней; мы оба смеялись над этим. Все шло хорошо, но ты знаешь порок моего народа: это племя людоедов! Сначала я был в ужасе от этого. Однако шутить с этим обычаем было опасно: и вот, чтобы угодить им, а может быть по склонности, унаследованной от предков, я ино-

гда стал съедать то одну, то другую вражескую ляжку. И вот тогда то эта бедная Эмма...

— Почувствовала отвращение к тебе?

— Нет, она была женщина слишком разумная, чтобы не подчиниться государственному соображению. Она попрежнему была счастлива, она даже стала жиреть. Я продолжал любить ее, но, глядя на нее, такую свежую, такую пухлую, как перепелка, я мало-помалу стал любить ее по иному... Не помню, кто из моих министров первый заговорил со мной об этом. Некоторое время я колебался, но однажды наступил большой праздник...

— Это чудовищно, сказал я, искренно возмущенный и забывая, какой опасности я подвергался.

— Ты думаешь? — спросил меня Сина,—насмешливым тоном.

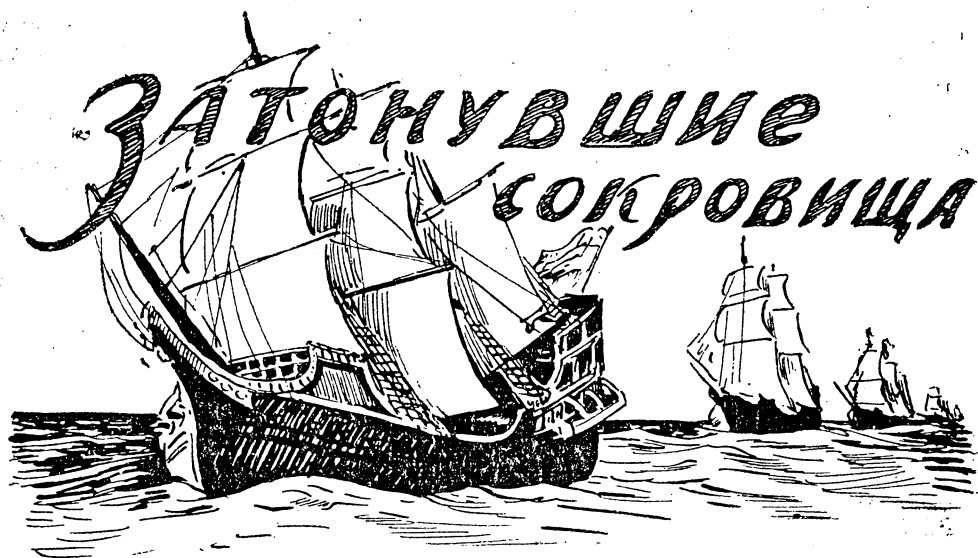
И он процитировал из Паскаля:

„То, что считается заблуждением здесь, становится истиной по ту сторону Пиренеев“.

Впрочем, он уверил меня, что предоставит нам свободно продолжать наш путь.

— Не благодари меня,—сказал он,—тут нет почти никакой заслуги с моей стороны: вы такие худы е





Рассказ Германа Георга Шеффауера.

От редакции. В настоящее время в Европе ведутся поиски сокровищ, затонувших в море на погибших кораблях. Есть и у нас в Крыму, у Балаклавы, такие подводные богатства, лежащие на дне со времени Крымской войны 1854 г., когда затонуло судно с неприятельской казной.

Предлагаемый ниже вниманию читателей художественный по стилю рассказ написан, таким образом, на тему дня. Но интерес его и в другом. Здесь вспоминается знаменитая в истории „Непобедимая“ Испанская Армада, которую Филипп II послал в 1588 г. против королевы Елизаветы Английской, армада, с гибелью которой кончилось и могущество Испании.

— Костелло?.. Костелло?

— Совершенно верно — Костелло, — говорит старик, цирульник в Моссиндхуни.

— Но, ведь, это ирландское, а не шотландское имя!

— Конечно, — и я, действительно, ирландец, — ответил цирульник, — но имя-то это не ирландское. Оно стало постепенно ирландским, но происходит из Испании. Я испанец, Кастилло.

— Костелло-Кастилло, — машинально повторял я, — но как же это случилось, что из испанского произошло ирландское имя?

Старик Костелло — цирульник в глухой деревушке Моссиндхуни на острове Муль. Обоим, — и деревне, и цирульнику, — много лет. Костелло — маленького роста, у него длинные белые волосы и черные, свер-

кающие глаза — глаза юноши. Но лицо у него старое и изборозжено глубокими морщинами. Он ходит медленно и спина его согнута. Он носит на плечах тяжесть семидесяти двух лет. Голос его потерял звучность и рука так сильно дрожит, что брея он мне до крови разрезает кожу. Он уже пятьдесят два года цирульником в Моссиндхуни.

Этим именем назывались шестьдесят каменных домов, теснившихся вкривь и вкось в ущелье на берегу залива. Было слышно, как за окном монотонно падали капли дождя и бушевала на море буря. Улицы утопали в грязи, так что и мне, бродившему вокруг, чтобы делать эскизы, пришлось прекратить свои странствования.

Из низкого и темного соседнего помещения доносился крепкий за-

пах кухни. Жена цирульника, толстенная шестидесятивосьмилетняя старушка в чепчике, готовила ужин. Под сводчатым потолком висела проволочная клетка и в ней тяжело перепрыгивал с места на место старый попугай. Но временам птица издавала дикие звуки, начинавшиеся резким криком и переходившие вдруг в бас.

— Что это он кричит?—спросил я.

Старик стал декламировать:

— Из глубины морской, из глубины морской все мое добро, все мое добро возвращается ко мне...

— Моя женушка родилась в Шотландии, в Моссиндхуни, — сказал Костелло. — Я тут и женился на ней, когда мне было 26 лет. Я пришел сюда совсем зеленым парнем, едва мне минуло двадцать.

— Но как же превратился испанский Кастилло в ирландского Костелло?—спросил я.

Цирульник был начитанный человек. В углу его лавки стоял книжный шкаф, полный книг хороших и знаменитых писателей. В произношении его чувствовалась ирландская горланность, но он говорил на чистом английском языке, применяя старинные обороты речи.

— Вы, в вашей далекой Америке, все таки, слышали, верно, про Армаду?

— Конечно... „С неба сошла гроза и разогнала ее“.

— Совершенно верно! Ветры разогнали ее, а Дрек и Говард разбили ее. Англичане говорят, что это был правый Божий суд. Некоторые корабли потонули, другие сгорели и разбились о фламандские берега, иные же пригнало к Ирландии и Шотландии. Из ста пятидесяти кораблей обратно к Филиппу доташилось всего пятьдесят три. Сердце Филиппа было разбито.

С пригнанных к Ирландии судов спаслось много моряков. Некоторых прикончили обезумевшие крестьяне, другие умерли своей смертью, иные остались в стране и женились на ирландках. Многих звали Кастилло, потому что они были родом из Кастилии. Кастилло

превратился в Костелло и теперь таких Костелло много. Мои предки тоже были Кастилло и вот почему я Костелло.

Все это было очень просто и, все же, странно и удивительно. В старике говорил голос давно-прошедших времен. В этих сверкающих, темных как ночь, глазах было что-то упорное. Такими глазами смотрели сотни лет тому назад корсары. Голос его казался мне голосом барда. Этот седой деревенский цирульник был звеном, соединявшим две отдаленные эпохи и два чуждых друг другу народа. Страна, где он родился, не могла его сделать ирландцем, как и обстановка, в которой он жил, не превратила его в шотландца. Передо мной стояла старая Испания, точно сошедшая с картины Веласкеза или Мурилльо.

Потомок моряков Армады дарил мне все больше и больше доверия. Я заслужил это интересом, с которым относился к его личности, и легким эскизом его выразительной, поэтической головы, который набросал в то время, когда он брил деревенских жителей.

Ушел последний выскобленный деревенский шеголь. А непогода все еще выла и бесновалась. Деревенская гостинница была переполнена пастухами. Поэтому Костелло устроил мне ложе в своей „чистой комнате“. Я решил остаться на ночь у цирульника. После скромного, но вкусно приготовленного ужина, мы втроем сидели у пылающего очага, свет которого был ярче всякой керосиновой лампы. Полусонно бормотал в своей клетке попугай...

— Когда тонул флот, ветром угнало большое адмиральское судно, „Сан Мартин“. Ветер мчал его на север, и он несся без руля по ирландскому морю. Это был огромный корабль, целая морская крепость! Его крестил корольский архиепископ! На высоте Моссиндхуни, ровно в полутора милях отсюда, корабль пошел к дну. Несколько его сотоварищей-кораблей разби-

лось о северный ирландский берег. Но "Сан Мартин" был самый большой из всех кораблей. На нем был флаг адмирала Диего Флореза и он был казней всего флота. Трюм его был до верху полон золотыми слитками и испанскими дублонами и дукатами. И как раз этот-то корабль и пошел ко дну ночью на высоте Моссиндхуни. Никто этого не знал. Спаслось только три человека. Один из них был мой предок. Один из них отправился в Ирландию искать товарищей, которые спаслись с разбитых кораблей.

Тайна погибшего адмиральского судна сохранялась в нашей семье триста лет. Но никто из моих родных не покидал Ирландии. Я первый ушел отсюда молодым человеком и пришел в Моссиндхуни. А пришел я для того, чтобы искать в море у Моссиндхуни корабль с сокровищами, которые принадлежали моему народу. Золото никогда не ржавеет, испанский дуб не гниет, а корабль, ведь, был выстроен из прочнейшего дуба. Я держал свое намерение в тайне. Ведь, если бы разнесся слух об этом, казна, конечно, сейчас объявила бы сокровища собственностью короля даже на дне моря.

— Из глубины морской, из глубины морской, все мое добро, все мое добро возвращается ко мне! — закричал вдруг повеселевший попугай.

— Вот так всегда кричит птица, когда заговоришь про море, — сказал Костелло.

— В часы отлива я стал шарить грузилом по дну. Изю дня в день, из года в год, миля за милей. Я обыскивал каждый дюйм, шел за течениями и исследовал морским телескопом дно. Так я трудился двадцать пять лет, но не нашел и следов корабля. Деньги мои пришли к концу, надежды тоже. Но тут вдруг стало прибывать к берегу множество вещей. Сторож маяка нашел как-то раз медную табакерку с вензелами Филиппа. Потом рыбаки вытащили сетями ножны от сабель, стволы ружей и медные гвозди. Я купил кое-что из этого. Видите, вот эти вещи.

— Табакерка была покрыта толстым зеленым слоем ржавчины, но можно было еще разобрать выпуклые инициалы испанского короля. Ножны и стволы ружей превратились в заржавленные палки и только местами поблескивал светлый металл. Гвозди были зеленые и погнутые.

Мне казалось, что я касаюсь рук, которые когда-то трогали эти вещи.

— Все это с адмиральского корабля, — сказал циркульник. — Но где же был сам корабль?

Я перебил его. Я высказал предположение, что корабль можно было бы найти при помощи водолазов и землечерпалок.

— Да, конечно... и отдать все, деньги и славу казне! Нет; если Костелло не найдет сокровища, то пусть оно останется в море до конца мира!

Ветер выл вокруг дома. Он рвал оконные рамы и потоки дождя ударялись в стекла, ярко освещенные огнем очага. Издалека доносились глухие звуки бушевавшего моря.

— Слушайте! Это море! — сказал Костелло. — Огонь очага освещал красным светом его белые волосы, молодые глаза сверкали. — Это волны в проливе. Они ударяются в берег и точат его. Тут они отрывают кусок земли, там приносят его к берегу. Вода берет и вода дает. Она отдаст нам и золото нашего народа. Большой адмиральский корабль тут, и бережет в трюме свои сокровища. Я знаю, море отдаст их нам!

Слова циркульника произвели на меня сильное впечатление. В его голосе звучали голоса всех его смуглых предков. Настоящее исчезло, как в театре, когда занавес раздвигается в обе стороны, — и выпукло, и ярко выступило из мрака времен прошлое.

Призрачные картины ушедших дней вставали передо мной. Бурный ветер гонит великолепные корабли, целые крепости, с парусами, украшенными гербами. И бездна моря поглощает всю эту славу и богатство Кастилии.

— Я читал, — говорит цирульник, — что Северное море размывает берега западной Англии на целые мили. Берега укрепляют гранитом, но люди устают, а море — никогда. В одних местах оно отрывает куски берега и потом нагромождает их в других.

— Но что случилось с адмиральским кораблем?

Костелло молчал. За него ответило море. Оглушительные, громовые удары морских волн, отдававшиеся в пещерах прибрежных скал, говорили, что море господствовало в глубине и над кораблем, и над сокровищами.

В этот вечер старик не говорил больше о корабле. Он стал спрашивать меня про Америку.

— Да, да, — говорил он, — рассказывают, что там золото лежит просто на улице. У нас этого нет, только в море еще можно найти золото.

Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Цирульник и его жена ушли и я остался один в крошечной комнатке, в которой должен был спать.

В это ликующее солнечное утро Костелло был такой же живой и подвижный, как и его болтливый попугай.

— Что за чудесный день! — говорил он. — Море радуется солнцу, а я радуюсь морю!

Старик становился со мною все ласковее. Ему, видимо, очень хотелось что-то мне рассказать. Взгляд его устремлялся на море, — туда, где оно сверкало между домами, точно серебряная чешуя, и он часто поглядывал на часы. Удовлетворив немногочисленных утренних клиентов, Костелло сказал мне:

— Пойдемте, — я хочу вам показать что-то, прежде чем вы уйдете отсюда. Чудеснее этого вы ничего не видели во всю свою жизнь. Вы скоро уедете в Америку. Дайте мне вашу руку и поклонитесь, что никому не выдадите меня. Никто этого не знает, никто, кроме меня и моей жены.



Светился туман, пронзенный лучами морских вод...

Костелло взял длинную, узкую трубу из черной жести и надел на седые волосы шотландскую шапку. Мы отправились по кривой деревенской улице до маленького мсла, где стояли рыбацьи лодки и где вода лениво омывала вековой гранит, покрытый мхом и водорослями и казавшийся зеленым нефритом. Костелло прыгнул в уютную лодочку и взялся за весла.

Я был моложе его и отнял весла.

— Вы, верно, испанца едете вылавливать? — крикнул ему, ухмыляясь, один из рыбаков.

— Ну, конечно, — ответил цирульник.

Мы мчались по зеркальному морю, невысокие, сонные волны которого поднимались и опускались. Солнце пекло. Неужели это то же самое море, жалобная песнь которого раздавалась накануне в прибрежных пещерах, точно могучие, торжественные звуки органа? Вче-

ра море было похоже на черное чудовище, борющееся с бурей среди раскатов грома и огненных небесных мечей. Сегодня же оно было жизнерадостным, сладострастным существом, отдавшимся ласкам солнца. Вокруг нас летали и спускались на воду чайки, ветер — был легким дуновением. Через полчаса мы доплыли до скалы, выступавшей в море. Когда мы проплывали мимо нее, от скалы оторвался кусок выветрившегося камня. Он с плеском скатился в море, обдавая брызгами наши лица, и лодочка закачалась на поднятых им волнах.

— Вот еще упал в море кусочек Шотландии, — сказал Костелло. — С каждым днем море все больше и больше размывает берега. Взгляните-ка! У скалы за неделю совершенно изменились очертания. Буря оторвала в прошлую ночь несколько центнеров¹⁾. Эта скала за один месяц стала короче на несколько локтей. Но это хорошо сделано! Я радуюсь потерям старой Англии! Гребите туда.

Он указал на две черные скалы, похожие на бычьи головы, поднимавшиеся над морской поверхностью недалеко от берега. Он направил лодку прямо между каменными чудовищами, возвышавшимися на тридцать футов над водой. Мы соединенными силами сбросили в море тяжелый обломок гранита, привязанный к веревке и служивший нам якорем.

— Солнце стоит сейчас так, как нужно, — как раз так, — таинственно сказал старик и поднял кверху морщинистое лицо с черными глазами.

Потом он схватил морской телескоп, опустил его в воду и наклонился над бортом качающейся лодки. Я сидел в рыбацкой лодке возле берегов Шотландии с корсаром старой Испании.

— Что вы видите? — спросила после долгой паузы.

Старик молчал. Глаза его, точно замороженные, не отрывались от стекол морского телескопа. Я горел любопытством. Старик долго

молчал, потом поднял голову. Глаза его горели огнем вдохновения.

— Вы сами увидите... через несколько минут, когда солнце встанет так, как нужно.

Я торопливо взял у него из рук телескоп и наклонился над сверкающими волнами. Солнце жгло мне спину.

Перед моими глазами светился зеленоватый туман пронзенных солнечными лучами морских вод. Прозрачная глубина трепетала в беспокойном, мерцающем свете, и я не мог ничего разглядеть.

Но скоро в сверкающем, текущем тумане стали вырисовываться какие-то темные очертания. Что-то лежало на дне моря, как раз под нашей лодкой. Я не мог бы сказать, было ли это нечто больших или малых размеров, выпуклое или плоское. Я не мог различить, что было тенью и что предметом. Но когда я установил телескоп по глазам и течения глубин стали прозрачны для моего зрения, внизу ясно выступили темные очертания. Они еще расплывались в зеленоватом полусвете, точно какое-то легендарное морское чудовище. Глаза мои теперь различали призрачный остов корабля. Совсем близко над моим ухом раздавался голос Костелло. Внешний мир и настоящая минута исчезли, мыслей не было, бодрствовали только глаза и уши.

— Видите, — звучал голос седой старины, — видите? Тут, как раз под нами, — адмиральский корабль! Гладкие желтые полосы, похожие на мели, в глубине моря, — это палуба, занесенная песком. Различаете вы три сломанные мачты? Одна лежит наискось палубы. Поглядите-ка на марс, прислоненный к скале. Вот эта куча — затянутый илом такелаж. Обратите внимание на ступени к адмиральскому мостику, какие они резные и позолоченные. Когда солнце стоит так, как сейчас, можно ясно различить золочение.

Взгляните-ка на эти зеленые предметы, разбросанные по палубе. Это сорвались и лежат на палубе бронзовые части орудий. Я читал Каль-

¹⁾ Центнер — сто фунтов.

дерона и старые испанские хроники и хорошо в этом разбираюсь. Вы можете разглядеть большой медный фонарь там, и темные дула орудий, поднимающиеся кверху на носу корабля! Это железные пушки, которые должны были стрелять вперед.

Поверните теперь телескоп направо. Видите? Все дула орудий! Осталось около тридцати, остальные засосал песок или они погребены в трюме. На корабле было девяносто пушек!

— Я вам назову боевые флаги моего корабля: красный с зеленым, золотой и пурпуровый, развеваются они в морской глубине. Я всегда, всегда думаю о золотом корабле, могучем „Сан Мартин“, сильной морской крепости, погребшей так, как я это представляю, в борьбе с английскими акулами и с бурей: с поднятыми парусами, развевающимися выпелами и сверкающими огнями выстрелов. В темную, бурную ночь пошел ко дну корабль, вместе с храбрыми, не знавшими страха, испанцами, и в живых осталось трое, только трое! Все лежит там, в глубине — Диего Флорез со своими моряками, сыновьями солнечной Испании. Они лежат в холодных шотландских водах, как раз под нами, и стерегут свои сокровища.

Вещавший чудеса голос потомка испанских воинов замолк. А я все еще склонился над смарагдово-зеленой водой и не мог оторвать от телескопа натруженных глаз.

— Смотрите, как раз под адмиральским мостиком три выломанных люка, дальше вы увидите большую решетку. Через нее выливают и выплывают рыбы и раки. Там лежит сокровище. Я знаю от старых Кастилло, что это были за сокровища: слитки африканского золота, перуанское серебро и жемчуг с Антильских островов. На корабле были и драгоценные камни в дубовых, обитых медью сундуках; и часть королевских драгоценностей. Чистое золото на тысячи и тысячи! Дукаты, и пистолы, и дублоны! Все это лежит в отличнейшей сохран-

ности под палубой, в недрах корабля из черного дуба.

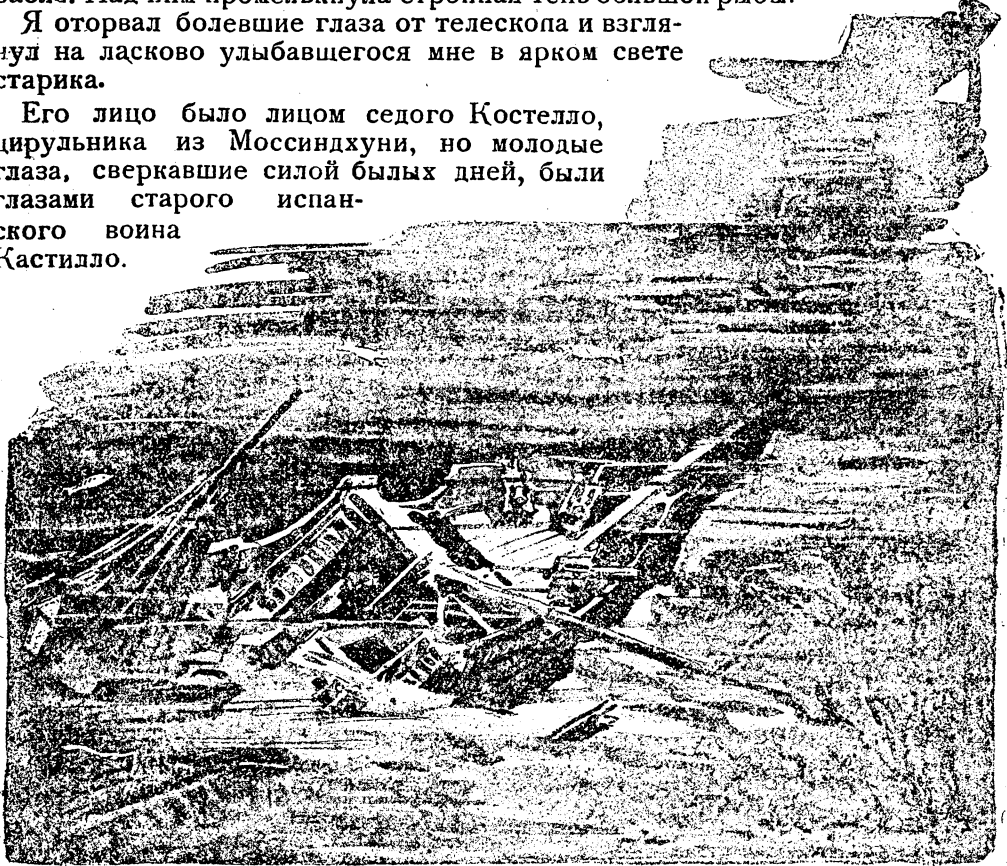
Взгляните теперь поскорее, пока нас еще не настигла тень от скалы. Вы видите, как „Сан Мартин“ лежит между двумя скалами? Он засел между скалами, как в пасти. Тут я увидел его в первый раз, совершенно случайно, двадцать семь лет тому назад. Он свободно покачивался тогда в воде, а не лежал, как теперь, на песчаной мели. Тогда палуба его находилась на глубине в три раза большей, чем теперь. Морское дно поднимается в этом месте с каждым годом. Течения наносят песок и срывающиеся куски скалистых берегов. С каждым годом поднимается корпус корабля со своим золотом, орудиями и скелетами моряков! С каждым часом, изо дня в день, из года в год поднимается корабль ближе к дневному свету и ко мне! А я терпеливо поджидаю его. Море взяло его и море же его и отдаст! Со времен былых гидальго и до наших дней Кастилло всегда умели взять то, что им принадлежит. Я жду и сторожу корабль уже двадцать семь лет. И пройдет еще семь лет, пока палуба корабля увидит свет. Он хорошо скрыт между скал. Ни одна лодка не заплывает сюда, только лодка безумного Костелло, который выезжает в море на ловлю корабля. Может быть, понадобится еще десять лет, пока из моря выйдет кораль. Но не дольше! Я должен получить его, я, последний из Кастилло! Через семь лет мне будет семьдесят девять лет и я не уйду, пока не получу корабля. Я приезжаю сюда каждый день и каждую неделю измеряю глубину. А в бурную погоду я сижу дома и говорю: из глубины морской, из глубины морской, все мое добро возвращается ко мне! А теперь все закрыла тень!

Медленно, вместе с исчезновением солнечных лучей, померкла и волшебная картина на дне моря. Тень одной из скал стерла сказочное видение. Палуба корабля, покрытая песком, медленно стала исчезать

в потускневшей воде и темная пучина поглотила большой черный остов корабля. Над ним промелькнула стройная тень большой рыбы.

Я оторвал болевшие глаза от телескопа и взглянул на ласково улыбавшегося мне в ярком свете старика.

Его лицо было лицом седого Костелло, цирюльника из Моссиндхуни, но молодые глаза, сверкавшие силой былых дней, были глазами старого испанского воина Кастилло.



Решение задачи № 7,

помещенной в № 6 журнала „Мир Приключений“:

„Периодическая система Менделеева“.

Первыми послали свои решения: Ф. Ф. Эйдемиллер, М. Ф. Висиленко, Э. К. Мюллер.

Этим трем лицам и посланы обещанные премии.

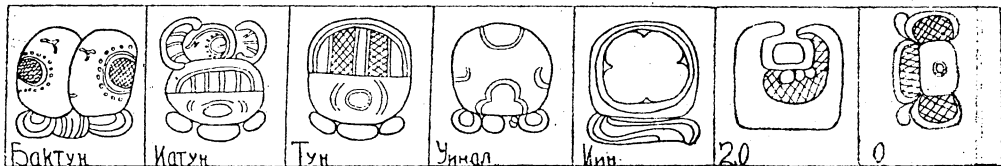
Кроме них правильные решения прислали: Дикис, Русаков, Хотянцева, Кокоулин, Слободская, Ревякин, Глазовский, Анисимов, Головченко, Валдман, Пурбек, Новиков, Орлова, Нестеров, Жигкевич, Сорокоумов, Бадия, Федотов, Венгеровский, Коновалов, Соколов, Чагин, Вишневский, Фридрих, Маркушевич, Ануреев, Сочеванов, Млынец, Назаров, Кострицын, Махомов, Рабинович, Адлер, Стрекалов, Капустинский, Карро, Григорьев, Митусов, Кочеров, Тихомиров, Трушковский, Парфенов, Мусс, Шалыгин, Балясов, Красов, Крушинский, Бурцев, Михайлов, Ершов, Хрыпов, Слюжкин, Фромзель, Левин, Кубасов, Нагорнов, Веселкин, Фомина, Старостин, Строков, Лохин, Бекин,

Эпель, Белоглазов, Бурьячек, Федоров, Агафонцев, Спиридонов, Собакин, Каширин, Перельман, Великанов, Сегал, Тер-Акопов, Коссюро, Кияшко, Абрамов, Антокольский, Петров, Рябиков, Цыганов, Петросян, Вецеклиус, Инаницкий, Мелик-Абрамянц, Ваулин, Курков, Бондарук, Усов, Беляева, Миловидов, Флерова, Мирошниченко, Кузьмин, Кетнер, Авшович, Александров, Амерджанов, Афанасьев, Гринберг, Корсак, Миронов, Деловая, Ананьин, Аникеев, Глушенко, Ястребова, Зюзьков, Барбицкая, Шурыгин, Культе, Наджаров, Балабанов, Шабуневич, Эйдельмант, Сазонова, Голович, Клаус, Манукян, Крид, Галин, Носко, Юг, Николаев, Ченчиков, Малыгин, Васильева.

Ответы, могущие поступить в будущем, рассмотрены не будут, в виду невозможности откладывать набор списка решивших.

ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ

Исчезнувшая культура.



Летосчисление у Майев.

Неустаннне работы археологов открыли в делях лесов центральной Америки и Мексики остатки давно исчезнувшей древней цивилизации — народа Майев.

К великому для нас сожалению, первые завоеватели этих стран, в пылу борьбы и под влиянием суеверного католического духовенства, не пощадили ценнейших памятников старины завоеванных народов. Особенно пострадали рукописи, почти целиком погибшие в пожарах. Только сейчас, путем кропотливых научных исследований надписей на памятниках и некоторых случайно сохранившихся манускриптов, удается постепенно расшифровывать загадочные письмена, говорящие нам о том, что в центральной Америке много тысяч лет тому назад, быть может раньше Египетской культуры, уже существовала какая-то загадочная цивилизация, странным образом имевшая много сходных черт с цивилизацией древнего Египта.

Пока удалось с значительной степенью точности выяснить систему счисления древних Майев. Система эта, довольно сложная сама по себе, с очевидностью говорит, что дело астрономических наблюдений стояло у Майев на чрезвычайно высоком уровне.

По системе Майев можно всегда было знать, сколько дней и лет прошло с начала их летосчисления. Дни обознача-

лись у них словом — „Кин“, 20 дней составляли один месяц — „Уинал“, 360 дней или 18 месяцев по 20 дней составляли год — „Тун“, 20 годов или 7200 дней назывались „Катун“, а 20 таких двадцатилетий или 144.000 дней назывались „бактун“. На прилагаемом рисунке приведено иероглифическое изображение этих периодов времени.

Таким же образом шел счет у Майев.

Один — изображался одной точкой. 2—двумя, 3—тремя, 4—четырьмя. 5—обозначалось чертой, 6—чертой с точкой и т. д. Десять писалось черточкой и 4 точками, 15—тремя чертами. Четыре черты составляло 20 или, как в системе летосчисления—один „уинал“. Но хитрый и сложный рисунок, заменявший цифру, мог скрывать число от непосвященных.

По системе Майев наше число 8125 получалось так:

в 8125 содержится 7200 = 1 катун + 925
в 925 содержится 2 раза 360 = 2 тун + 205
в 205 содержится 10 раз 20 = 10 уинал + 5
в 5 содержится 5 по 1 = 5 кин.

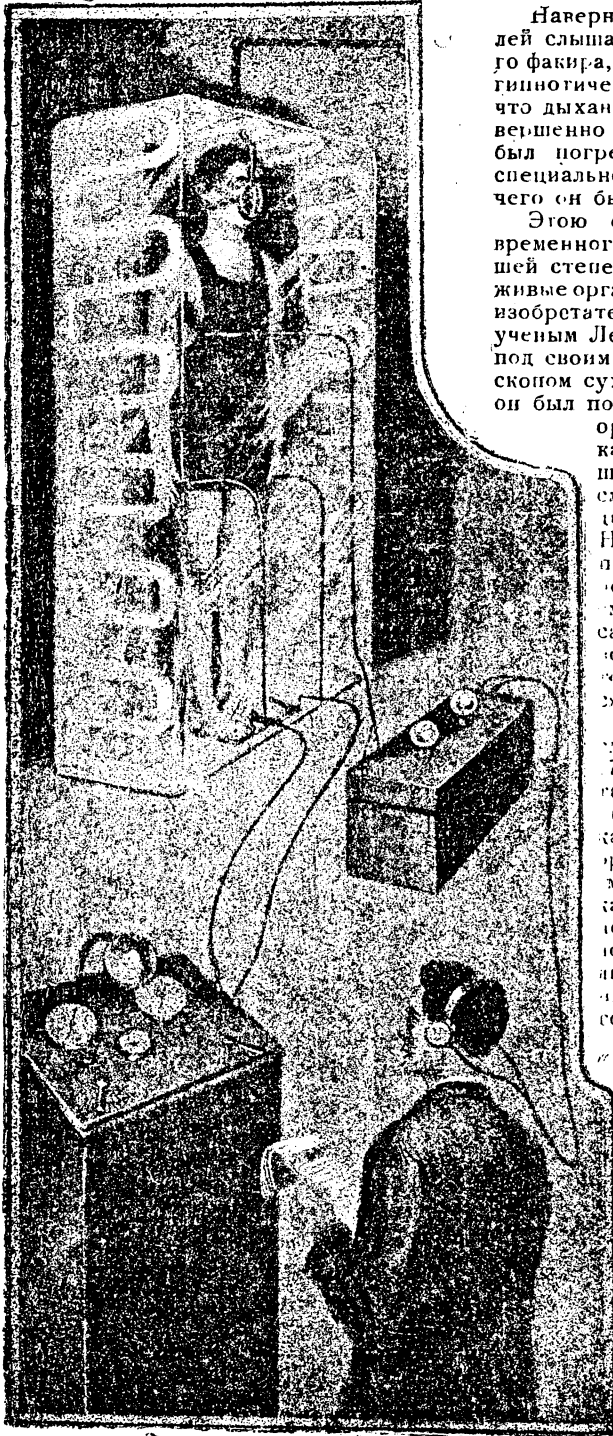
Следовательно 8125, по счислению Майев, напишется: 1 катун, 2 тун, 10 уинал, 5 кин—1.2.10.5.

На рисунках видны изображения некоторых чисел, давших ключ к разгадке языка этого таинственного, неизвестно откуда взявшегося и навеки исчезнувшего народа.

1	3	4	5	6	9	15	19

Счет у Майев.

Заснувшая жизнь



Наверное большинство наших читателей слышало об опыте одного индийского факира, погрузившего себя в глубокий гипногический сон, настолько глубокий, что дыхание и работа сердца почти совершенно прекратились и сам заснувший был погребен на несколько месяцев в специально построенном склепе, после чего он был снова приведен в чувство.

Этой способностью — анабиоза, или временного замирания жизни, в еще большей степени обладают некоторые низшие живые организмы, — явление, подмеченное изобретателем микроскопа, голландским ученым Левенгуком в 1701 г. Исследуя под своим весьма несовершенным микроскопом сухую пыль, взятую им с крыши, он был поражен появлением маленьких организмов (т. н. комовраток), как бы по волшебству возникавших из этой пыли, как только он смочил ее каплей воды. В середине 18 века английский ученый Нилгэм, исследуя под микроскопом зерна пшеницы, пораженные особой болезнью, открыл, что при смачивании водой мучнистая масса, наполнявшая зерна, точно по волшебству оживала и сухие до того волокна начинали извиваться и двигаться.

Такие же наблюдения были сделаны Спалланцани в конце 17 века над оживанием пауков-сенокосцев. Все эти замечательные наблюдения над оживанием так будто совершенно мертвых организмов неоднократно повторялись и проверялись, пока Дуэйеру в 1859 г. и другим новейшим исследователям удалось доказать полную справедливость фактов, изученных прежними наблюдателями. Более того, — выяснилось, что некоторые низшие живые организмы оживают не только после потери $\frac{3}{4}$ содержащейся в них влаги, но даже могут пережить полное и долговременное отсутствие кислорода воздуха и низкую температуру (183° температура жидкого кислорода).

Русский ученый Порфирий Иванович Бахметьев открыл еще более изумительные вещи. Изучая давно известные факты оживания замерзших лягушек, он обнаружил, что температура их постепенно падает, пока не достигает 10° , затем происходит резкий скачек вверх до $1\frac{1}{2}$

(когда переохлажденная кровь начинает замерзать, выделяя при этом тепло), после чего температура животного снова медленно начинает падать. Если при этом, пока температура не упала снова до 10° , вынуть животное из охладительного при-

бора, то оно оживает. Если же охлаждение веси ниже 10° , то жизнь уже не вернется.

Такие же опыты Бахметьев проделал над летучими мышами: замёрзшие и превратившиеся в твердую ледяную глыбу животные приоттаивании вновь оживали...

Такие же опыты Бахметьев думал проделывать над различными млекопитающимися и даже над человеком, но преждевременная его смерть прекратила эти замечательные исследования.

На помещенном здесь рисунке изображен фантастический опыт замораживания человека, появившийся в одном американском научном журнале. Человек погружен в огромный стеклянный сосуд, наполненный соленой водой с охлаждающими змеявиками внутри. Для поддержания дыхания (очень слабого) служит маска, соединенная с баллонами сжатого воздуха. Специальная электрическая проводка соединена с подошвами и ладонями, заставляя циркулировать в теле электрический ток, препятствующий кровяи, благодаря своему тепловому эффекту, превратиться в лед и разорвать кровеносные сосуды.

Деятельность сердца наблюдается при помощи особо чувствительного электрического стетоскопа с ламповыми катодными усилителями.

Само собой разумеется, что произвести такой опыт далеко не легко, — быть может он удастся лишь в совершенно иной обстановке. Как бы то ни было, успешность этого смелого эксперимента открыла бы перед нами не мало интересных научных перспектив, хотя бы в области лечения некоторых заразных болезней. — например, чахотки, бактерии которой погибают уже при температуре в несколько градусов ниже нуля. Тогда туберкулезных больных можно было бы „стерилизовать“ замораживанием или охлаждением; туберкулезные бактерии при этом должны были бы погибнуть, а вновь оживленный и оттаявший больной был бы избавлен от своего грозного недуга.

Все это, конечно, сейчас лишь смелые фантазии и предположения, но кто может поручиться, что завтра не принесет нам известия о воплощении этих фантазий в самую реальную действительность.

Гараж-башня для моторов.

В Нью-Йорке, где на каждых четырех жителей приходится один автомобиль, где земля расценивается на квадратные футы и дюймы и очень важно экономить пространство, дошли до мысли построить гараж в виде башни. Принципы башни следующей, как видно по модели.

Башня разделена на две части — неподвижную, в которой фактически и ставятся автомобили на покой, и подвижную, то есть лифт. Платформу, на которой стоят семь этажей башни, надо представить себе, как поверхность земли. Автомобиль въезжает в открытое помещение лифта на поверхности земли. Лифт поднимает автомобиль до уровня вакантного этажа гаража. С помощью особого рычага автомобиль боком переносится на предназначенное ему место, а лифт опускается назад за очередным автомобилем. То же самое происходит, когда автомобиль ставится на место под землей, где имеется несколько клеток. Для того, чтобы поставить автомобиль на место, или, наоборот, вывести его из гаража, лифт тратит в среднем три минуты, между тем как в гараже, рассчитанном на двадцать, скажем, автомобилей, приходится потратить иногда 10 минут, пока выведешь автомобиль.

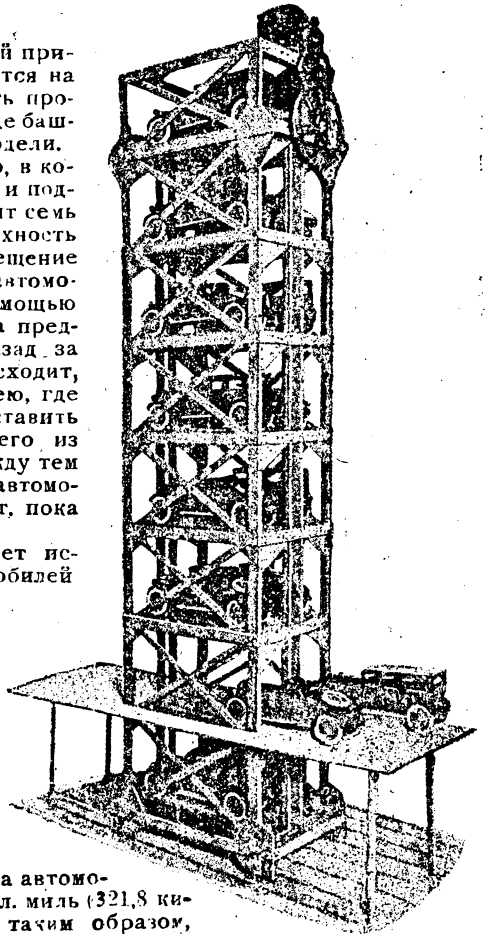
Между прочим первый этаж под землей будет использован как место для чистки и починки автомобилей.

Двести английских миль в час.

Известный английский спортсмен и автомобильный гонщик Малькольм Кампбелл принялся в настоящее время за постройку автомобиля, на котором он надеется побить мировой рекорд быстрой езды.

Кампбелл намерен снабдить свой автомобиль аэропланым мотором Napier Lion, который, не смотря на свои 600 лошадиных сил, весит не более 800 англ. фунтов.

Кампбелл убежден, что при помощи этого мотора автомобиль его сможет двигаться со скоростью в 200 англ. миль (321,8 километра) в час. Автомобиль этот двигался бы, таким образом, по земле со скоростью большей, чем скорость наиболее быстрого аэроплана в воздухе.



ЭЛЕКТРОМАГНИТИЗМ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА.



Знаменитый английский физик Чарльз Росс, в течение многих лет работавший над изучением человеческого глаза, давно выражал предположение, что



глаз излучает электромагнитную энергию.

Доктор Росс построил недавно весьма простой экспериментальный аппарат, который заключается в следующем. С центра высокого цилиндра спускается тончайшая нить, на которой подвешена тонкая металлическая спираль. Над спиралью, на той же ниточке, висит магнит, который и держит спираль на одном месте. Оказалось, что пристальный взгляд, усредненный на спираль, заставил последнюю повернуться, сделав угол в целых шестьдесят градусов!

Этим, возможно, объясняется та непонятная сила, которая заставляет диких зверей повиноваться укротителю и отводить глаза под пристальным взглядом человека.

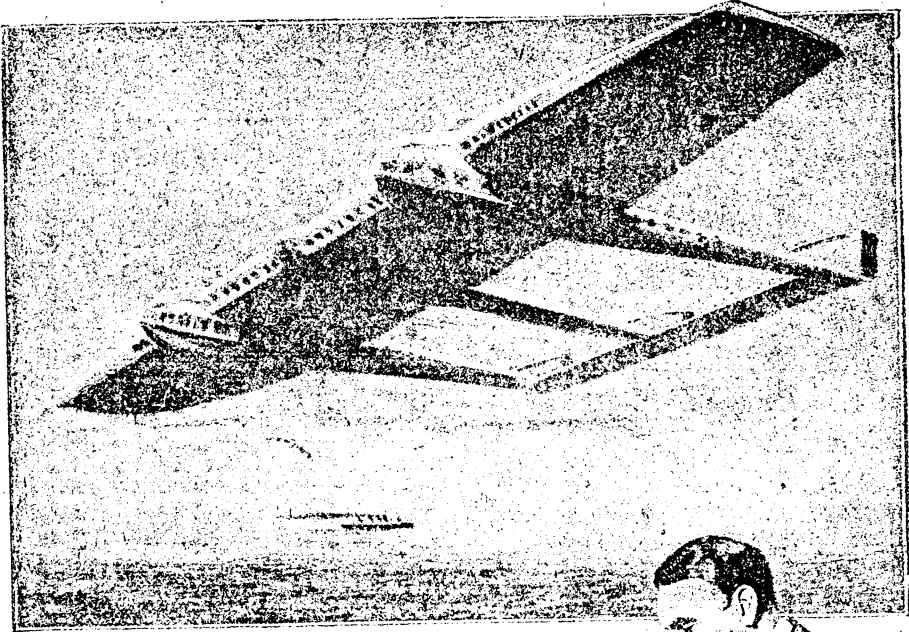
Роторный пропеллер.

Нашумевшее недавно изобретение Флетчера, применившего впервые роторный принцип (вращающийся цилиндр) на судне, начинает проникать также в авиацию. На нашем рисунке изображена модель роторного пропеллера. Идея — чрезвычайно проста. Вращается не только сам пропеллер вокруг своей оси, но и каждая половинка пропеллера вокруг своих осей. Эксперты летательного дела предсказывают повышение коэффициента полезной энергии, благодаря роторному пропеллеру, на 50%.

Второй метод применения роторного пропеллера дает последнему вспомогательную роль, так как роторы прилажены к крыльям и повышают двигательную силу моторов.



Европа — Америка в 24 часа.



В течение ближайших двух—трех лет у нас будут воздушные корабли для переезда из Европы в Америку в одне сутки! Это сообщение исходит не от фантазера, а от знатока своего дела, знаменитого фабриканта самолетов всех видов и изобретателя Луи Бреге. Луи Бреге выпускает ежегодно больше самолетов, чем кто либо другой в мире, и надо отдать ему справедливость в том, что для себя лично он от этого получает лишь на скромную жизнь, а все доходы уходят на бесконечные эксперименты и постройку новых моделей.



Сейчас Бреге занят усовершенствованием особого типа самолета, мысль о котором принадлежит коллективно нескольким инженерам. Самолет, изображенный на рисунке, не есть нечто законченное, это скорее более или менее разработанный принцип. Этот моноплан будет весь построен из дуралюминия и вместе со своими 60-65 пассажирами, багажем и грузом, будет весить 55 тонн. Двигательная сила будет получаться из восьми мощных моторов, расположенных вдоль ширины всего аэроплана, общей мощностью в 5.000 лощ. сил. Кабинки будут занимать не только кузов самолета, но и часть крыльев, и по приблизительному расчету их будет 75. В зависимости от самого расположения, удобств и размеров, кабинки будут подразделены на восемь—первого класса, пятьдесят две—второго и пятнадцать—третьего. Средний размер кабинки—6×6×10 футов. На самолете кроме капитана, электротехника с помощ-

ником, двух пилотов, восьми механиков и радио-телеграфиста, будет также четыре повара, которые будут готовить пищу на электрической кухне.

Бреге рассчитывает, что стоимость каждого такого гигантского самолета,—около 2.000.000 долларов,—будет покрыта из первых же 2.000 часов полета, ибо гигантские размеры и абсолютная безопасность этого трансатлантического самолета будут внушать достаточно доверия публике и не представится нужды в пассажирах. Средняя стоимость перелета предполагается в 400 рублей, то-есть относительно немногим больше того, что стоит переезд на океанском пароходе, при чем вместо 126—150 часов и морской болезни, можно будет перебираться в другое полушарие в двадцать четыре часа.

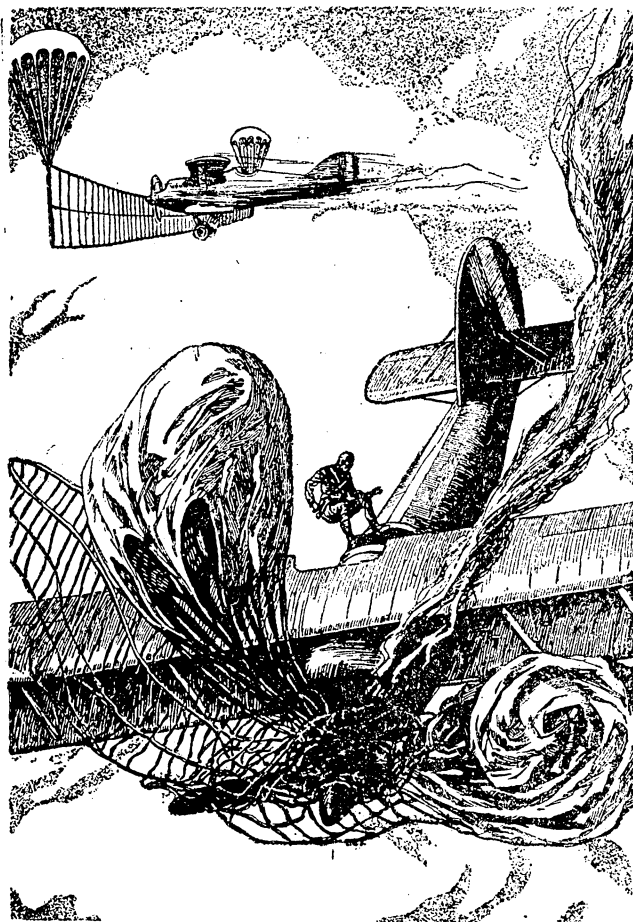
Согласно планам Бреге, трансатлантические полеты будут происходить летом через Нью-Фаундленд, а зимою—через Азорские острова.

Переворот в электрическом освещении.

Можно ожидать огромных результатов от изобретения американского электротехника Конрада Шикерлинга, который взял патент на совершенно новый род электрической лампочки.

Как всякий знает, в современной электрической лампочке помещается тончайшая металлическая нить из сплава платины и иридия. Эта нить часто рвется при сотрясении, а равно перегорает (лампочка начинает чернеть). Лампочка Шикерлинга такой нити не имеет. Она состоит из двух стержней, кончающихся небольшим утолщением, где и происходит накаливание, дающее свет. Пока еще лампочка Шикерлинга будет недоступна по цене для домашнего освещения, но для освещения улиц и для световых реклам, на которые тратится колоссальная энергия, она и сей-

час окажется незаменимой, так как она обладает гораздо большей долговечностью и дает экономию энергий от 50—80%.



Борьба с воздушным врагом.

По мере того, как растет дело военной авиации, прогрессируют также и способы борьбы с воздушным врагом. До сих пор лучшим средством борьбы считаются специальные зенитные орудия, бьющие шрапнелью по аэроплану. Теперь появилось нечто новое, а именно охота на аэроплан с помощью сетей, и мысль эта принадлежит японскому инженеру летчику Тагака.

Тагака недавно продемонстрировал свое изобретение. Оно состоит в следующем. Из небольшого орудия выбрасывается бомба, которая разрывается в воздухе на определенной высоте, по желанию, как и шрапнель. Из бомбы выпадают два парашюта, которые быстро расправляются и натягивают сеть, протянутую между ними. Нужно только правильно рассчитать, чтобы сеть оказалась на пути самолета и, как только пролетел, окажется запутанным в сеть, самолет, понятно, обречен на гибель, и летчику остается лишь выбраться, полагаясь на свой парашют. Ядро, выбрасываемое орудием Тагака, стоит лишь четверть того, во что обходится снаряд шрапнели против воздушного противника.